КЛАССИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ

В. Э. ВАЦУРО

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

ДОМ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Давыдов, как поэт, решительно принадлежит к самым ярким светилам второй величины на небосклоне русской поэзии», — писал в 1840 году Белинский, заключая свой обширный очерк литературной деятельности «поэта-партизана», — лучший памятник, который поставила ему русская критическая и эстетическая мысль XIX века.

- Вадим Эразмович Вацуро
  - Денис Давыдов — поэт[1]
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31

- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63

Вадим Эразмович Вацуро

Денис Давыдов — поэт[1]

«Давыдов, как поэт, решительно принадлежит к самым ярким светилам второй величины на небосклоне русской поэзии», — писал в 1840 году Белинский, заключая свой обширный очерк литературной деятельности «поэта-партизана», — лучший памятник, который поставила ему русская критическая и эстетическая мысль XIX века. «…Давыдов примечателен и как поэт, и как военный писатель, и как вообще литератор, и как воин — не только по примерной храбрости и какому-то рыцарскому одушевлению, но и по таланту военачальничества, — и, наконец, он примечателен как человек, как характер. Он во всем этом знаменит, ибо во всем этом возвышается над уровнем посредственности и обыкновенности. Говоря о Давыдове, мы преимущественно имеем в виду поэта; но чтоб понять Давыдова как поэта, надо сперва понять его как Давыдова, т. е. как оригинальную личность, как чудный характер, словом, как всего человека…»

Слова Белинского были не просто данью уважения и художнического удовлетворения, — они заключали в себе концепцию творчества, причем ту самую, какую хотел бы услышать сам Давыдов из уст своих современников. «Он был поэт в душе; для него жизнь была поэзиею, а поэзия жизнью»[2], — этой именно характеристики ждал и добивался Давыдов, когда писал свою автобиографию, когда убеждал Н. М. Языкова, что имеет право на внимание как «один из самых поэтических лиц русской армии»[3]. Заметим: не как храбрый воин, не как выдающийся военачальник и даже не как талантливый поэт, — но как то, и другое, и третье, взятое в нераздельной целостности и органичности.

Денис Васильевич Давыдов родился 16 июля 1784 года в Москве, в старинной дворянской семье, связанной узами родства с Раевскими, Каховскими, Ермоловыми, Самойловыми и др[4]. Военная профессия была для Давыдовых традиционна, и семи лет мальчик был уже знаком с бытом военного лагеря, а девяти — видел «великого Суворова» в доме отца; об этой встрече, как о самом своем сильном детском впечатлении, он рассказал в особом очерке[5]. В свою автобиографию он включил, однако, и другое воспоминание: тринадцати лет или около того от роду, умея только «лепетать по-французски, танцевать, рисовать» и зная начатки музыки, он познакомился в Москве с питомцами Университетского благородного пансиона, — они доставили ему случай прочитать «Аониды», альманах Н. М. Карамзина. Пример

новых знакомых, печатавшихся в «Аонидах», воспламенил «честолюбие» будущего поэта, — но из-под пера его вышли лишь довольно нелепые сентиментальные стихи о пастушке и «изменившей» ей овечке. Этот эпизод в своем существе важнее и серьезнее, чем он предстает в пародийном рассказе Давыдова: он указывает на пробуждение литературных интересов будущего поэта и на его первоначальную литературную среду — кружок литераторов, собиравшихся вокруг Карамзина; с «университетским питомцем» Жуковским у него потом установятся прочные литературные связи, а стихи самого Карамзина в «Аонидах» отразятся в его собственном творчестве.

Формирование личности Давыдова падает на годы павловского террора, затронувшего и его семью, и родных: А. М. Каховский, А. П. Ермолов были сосланы как участники так называемого «смоленского заговора»; в 1798 году отец Давыдова попал под суд по делу о беспорядках в полку. Имение Давыдовых было конфисковано, и семья бедствовала многие годы; Давыдов вспоминал, что, живя в Петербурге, он по неделям вынужден был питаться одним картофелем. Переворот 11 марта 1801 года открыл перед «дворянским недорослем» возможность службы в столице: в том же году Давыдова отвозят в Петербург и с большими трудностями определяют эс-тандарт-юнкером в Кавалергардский полк. Социальное воспитание юноши завершается в атмосфере первых лет александровского царствования, с их либеральными веяниями, оживлением политической жизни, свободным обсуждением общественных проблем во вновь возникающих журналах. Он сближается с кружком офицеров Преображенского полка, куда входили в числе других С. Н. Марин и А. В. Аргамаков, непосредственные участники заговора 11 марта; это была среда светская, военная и литературно-театральная. К кружку примыкали Д. В. Арсеньев, Ф. И. Толстой («Американец»), Г. В. Гераков, А. А. Шаховской; родственные и дружеские узы связывали их с домом знаменитого мецената А. Л. Нарышкина, директора императорских театров, и, с другой стороны, — с приютинским литературным гнездом А. Н. Оленина, откуда в ближайшие же годы выйдут деятели двух противостоящих литературных партий. Марин и Шаховской станут членами «Беседы любителей русского слова», Давыдов, Батюшков — «Арзамаса», но это произойдет позже: в 1801–1803 годах эстетическое размежевание еще не осуществилось до конца.

В кругу преображенцев Давыдов воспринимает стихию сатиры и пародии — характерную принадлежность домашних литературных кружков и домашней поэзии. Здесь она сочеталась с оппозиционным духом; так, Марину принадлежали две очень

известные в свое время сатиры на «гатчинцев»: «1796-го году, ноября 7-го» и «Пародия на Оду 9-ю Ломоносова, выбранную из Иова» (1801). В царствование Павла оживилась рукописная сатира, — репрессии не могли остановить ее потока. С ослаблением цензурного пресса социальные и политические проблемы, вызванные к жизни только что минувшим царствованием, начинают обсуждаться уже печатно.

В этих условиях появляются ставшие знаменитыми басни молодого Давыдова — «Голова н Ноги» и «Быль или басня, как кто хочет назови», известная также под названием «Река и зеркало». Он воспользовался сюжетами, распространенными и актуальными как раз в начале века: они ставили проблему гражданской ответственности монарха — одну из центральных для просветительской социологической мысли. В «Были или басне…» Давыдов конкретизировал сюжет: упоминание о «Сибири», куда «деспот» ссылает правдолюбивого вельможу, проясняло социальный адрес — речь шла о русском царе (царствующем или историческом). Вторая же басня — «Голова и Ноги» — оказывалась бесцензурной уже по самой своей проблематике. Согласно доктрине, широко распространенной в XVIII веке, социальная гармония обеспечивается незыблемой иерархией состояний; нарушение ее ведет к анархии и гибели социального организма. У Давыдова изменена сама исходная точка рассуждения: реально существующей является не гармония, а дисгармония в общественных отношениях, и вина за нее лежит на «голове», которая превысила предоставленную ей обществом власть. «Монархия» переросла в «деспотию». Теперь общество может применить к «деспоту» санкции в силу естественного права. Такой вариант решения проблемы выбирало радикальное крыло Просвещения (в частности, Радищев в «Вольности»); нет сомнения, что Давыдов осмыслял здесь и социальный опыт цареубийства 11 марта.

Эти басни сразу же получили распространение. В. Д. Давыдов, конечно со слов отца, рассказывал, что его ранние сатиры стали известны «по милости услужливых друзей»[6]. По-видимому, все же отношение к ним «друзей» было двойственным: не чуждаясь свободоязычия, они в новых условиях вряд ли сочувствовали политической фронде; во всяком случае, в стихах самого Марина мы неоднократно находим восторженные упоминания Александра I.

Переписывая басни Давыдова, они досадовали на его юношескую дерзость; в печатной отповеди Аргамакова «мальчишке пустомеле» была упомянута и басня «Голова и Ноги»: «И *Ноги* заставляешь болтать нам вздор и ложь». Впрочем, это

была не война идей, а скорее предостережение.

Сатирические стихи Давыдова не остались без последствий: автор их получил «головомойку» от петербургского генерал-губернатора, а 13 сентября 1804 года был выписан из поручиков Кавалергардского полка в армию, в Белорусский гусарский полк, стоявший в окрестностях Звенигородки в Киевской губернии. Обстоятельства этой фактической высылки нам неизвестны, хотя современники их знали: Давыдов не раз рассказывал о них (в частности, фельдмаршалу Каменскому) и описал в не дошедшей до нас части своих записок[7].

Репутация сочинителя антиправительственных стихов, якобы наказанного за них ссылкой в Сибирь, еще более укрепилась за Давыдовым, когда в начале 1805 года стала распространяться басня «Орлица, Турухтан и Тетерев», которую устойчивая традиция приписала его перу. Эта басня — один из наиболее резких памфлетов на Александра I и его ближайшее окружение: новый царь, пришедший на смену убитому «тирану», — «скупяга из скупых», берегущий «крохи» и отдавший царство «любимцам», которые разоряют его, насаждая коварство и бесчестность. Именно об этом — о строгой экономии, установленной Александром в личных расходах и пожалованиях, и неоправданной расточительности средств в бюрократических учреждениях — будет писать Карамзин в записке 1811 года «О древней и новой России…»[8]. Критика, справедливая и проницательная, шла, однако, со стороны консервативной оппозиции либеральным реформам Александра. «Орлица, Турухтан и Тетерев» пишется в 1804 году, когда в Сенате и только что учрежденных министерствах шла борьба между сторонниками «старой» и «новой» партий; первая, консервативная, обвиняла Александра в отказе от государственных форм екатерининского времени. Давыдов говорит буквально то же самое, и осведомленные современники вряд ли случайно связывали басню с выступлениями таких «недовольных», как А. С. Шишков или А. С. Хвостов — столпы консервативной оппозиции, — а в «любимцах» «Тетерева» видели либеральное окружение Александра I. Резчайший антиправительственный памфлет оказывался порождением не революционной, а фрондерской идеологии, причем с чертами консерватизма.

Служба в Белорусском гусарском полку не была для Давыдова обременительной. Его начальник, Б. А. Четвертинский, брат известной красавицы, фаворитки императора М. А. Нарышкиной, вскоре стал ближайшим приятелем Давыдова. Бывший кавалергард, ныне гусар, входит в атмосферу гусарского

быта. Плодом новых впечатлений явились знаменитые послания Бурцову (1804), получившие широчайшую популярность и во многом определившие литературную репутацию их автора.

Успех их был симптомом времени. «Молодечество», «удальство» становилось характерной чертой эпохи. «Попировать, подраться на саблях, побушевать где бы не следовало, это входило в состав нашей военной жизни в мирное время. <…>… Военно-кавалерийская молодежь не хотела покоряться власти, кроме своей полковой, и беспрерывно противодействовала земской и городской полиции, фланкируя противу их чиновников. Буянство хотя и подвергалось наказанию, но не почиталось пороком и не помрачало чести офицера, если не выходило из известных, условных границ»[9]. Ф. Булгарин, которому принадлежат приведенные строки, цитировал при этом «Песню» Давыдова («Я люблю кровавый бой…»), удостоверяя, что «так, в самом деле, думали девять десятых офицеров легкой кавалерии» в начале столетия. Это время создает легенды об удальцах — силаче Лукине, героических авантюристах Н. А. Хвостове и Г. И. Давыдове; его порождением был и Федор Толстой — «Американец», близкий приятель Д. Давыдова, яркая, талантливая и «преступная» личность, реальные похождения которого обрастали устными анекдотами, формировавшими легенду. Люди начала века, ровесники и младшие современники Давыдова, составили и тот «гусарский» круг, в котором вращался юный Пушкин; к нему принадлежали П. П. Каверин, члены «Зеленой лампы» и театральных собраний Н. В. Всеволожского. К нему, наконец, принадлежал и сам Денис Давыдов. Стихи, обращенные к Бурцову, «гусару гусаров», уходили своими корнями в реальный социальный быт и социальную психологию[10]. В них отражалась новая система этических ценностей, где «буянство» перестало почитаться пороком.

Однако чтобы стихи к Бурцову стали фактом литературы, смены этических ценностных ориентаций было недостаточно; нужны были сдвиги в шкале эстетических ценностей. Екатерининское время также изобиловало примерами «удальства», но мы не знаем случаев его эстетизации или героизации. В XVIII веке Бурцов мог быть в лучшем случае героем травестированной ироикомической поэмы, бурлеска, сущность которого заключалась в контрасте между «высоким» способом и «низким» предметом изображения. «Литературный Бурцов» — это Буянов из «Опасного соседа» В. Л. Пушкина (1811) или гусар в отставке Угаров в «Липецких водах» А. А. Шаховского (1815) — комическая фигура «хвата», с его невоспитанностью, бесцеремонностью и интеллектуальным кругозором любителя

лошадей, собак и кутежей с цыганками. В системе эстетических оппозиций «высокое — низкое», определявшей литературные представления XVIII — первой четверти XIX века, гусарским стихам Давыдова места, конечно, не было; они могли стать эстетическим фактом только тогда, когда утвердилась новая система оппозиций: «поэтическое — прозаическое». Бурцов у Давыдова — герой поэтический, а под поэтическим понимается то, что выходит за пределы жизненной ординарности, размеренности, регулярности.

Такой герой требовал резко экспрессивных форм словесного изображения. И современников, и потомков поражала и нередко шокировала «грубость» давыдовских «гусарских» стихов. Но «грубость» эта не самоценна, она мотивирована самым обликом носителя речи или адресата. И его положение в социальном мире, и его речевое поведение противопоставлены бытовой повседневности (а в нее более всего и прежде всего включался этикетный, организованный светский быт), как сфера «поэтического» сфере «прозы»[11]. В этом отношении «гусары» Давыдова предвосхищают, например, героев Бестужева-Марлинского, противопоставленных «ледяному свету» как носители естественного, эмоционального, не подчиненного условностям начала, — и, быть может, отчасти поэтому глава русской романтической прозы уже в 1820-е годы будет открыто демонстрировать свою приверженность поэзии Давыдова и даже посвятит ему свой «Замок Нейгаузен». И так же, как у Бестужева, и даже еще в большей степени, бытовое правдоподобие у Давыдова — иллюзия. «Ясной сабли полоса», заменяющая зеркало, «куль овса» вместо диванов, «ташка с царским вензелем» в роли картины — все это быт не реальный, повседневный, а полемически соотнесенный с ним, быт функциональный, стилизованный, почти символический, своеобразная форма будущей романтической экзотики.

Но и в этих подчеркнуто стилизованных формах быт играл свою роль: он расширял и видоизменял область эстетически допустимого в традиционной батальной лирике. Он становился атрибутом «рядового» героя, заменившего теперь героя «возвышенного», и непременной принадлежностью «гусарской песни», вытеснявшей военную оду. «Гусарщина» Давыдова, несомненно, была симптомом демократизации поэзии.

Современники — вне зависимости от того, принимали ли они или отвергали ее эстетическую основу, — ощущали ее как открытие и как своего рода индивидуальную монополию Давыдова-поэта. Давыдову пытались подражать; Батюшков в «Разлуке» (1812–1813) сделал попытку перевести Давыдовские

«гусарские» стихи на язык своей поэзии — и потерпел неудачу. Пушкин иронически отозвался об этом творческом «споре». В лицейские и первые послелицейские годы он сам создавал стихи в духе Давыдова — и также без большого успеха. «Гусарская песня» не была ни долговечной, ни продуктивной; она не создала в русской поэзии сколько-нибудь устойчивого жанрового образования, и, как мы увидим далее, сам Давыдов более ее не разрабатывает. Значение ее было в другом: она расшатывала сложившуюся батальную традицию и отыскивала новые, деканонизирующие формы лирической экспрессии, оказавшие воздействие на соседние жанры — элегию и романс.

Стихи к Бурцову писались юношей, еще ни разу не видевшим сражения. В 1805 году Кавалергардский полк был при Аустерлице, Белорусский гусарский оставался в тылу. Влиятельные друзья — и более всех Б. А. Четвертинский — хлопотали о возвращении Давыдова в гвардию, и небезуспешно: 4 июля 1806 года его переводят поручиком в лейб-гвардии гусарский полк. В начале сентября он прибывает в Петербург. Он стремится в действующую армию и даже предпринимает отчаянный ночной визит к фельдмаршалу графу М. Ф. Каменскому, о чем рассказывал позднее в одном из очерков. Ему помогло ходатайство М. А. Нарышкиной-Четвертинской, взявшей молодого лейб-гусара под свое покровительство: ее стараниями Давыдов получил должность адъютанта П. И. Багратиона и 5 января 1807 года выехал на театр военных действий. 24 января он получает первое боевое крещение в деле у Вольфсдорфа, а 26–27 января участвует в «гомерическом побоище» при Прейсиш-Эйлау, которое навсегда осталось для него самым сильным впечатлением войны: в течение полутора суток он выдерживает артиллерийские атаки — «…широкий ураган смерти, все вдребезги ломавший и стиравший с лица земли все, что ни попадало под его сокрушительное дыхание…» («Воспоминание о сражении при Прейсиш-Эйлау 1807 года января 26-го и 27-го»)[12]. Вместе с армией он проходит путь до Фридланда и становится очевидцем встречи Александра и Наполеона в Тильзите. Летом 1807 года вместе с Багратионом он отбывает в Россию.

Несколько месяцев Давыдов проводит в Москве. Двадцатитрехлетний штаб-ротмистр, боевой офицер, прошедший наполеоновскую кампанию и увенчанный за храбрость Прейсиш-Эйлауским крестом и прусским орденом «Pour le merite», «утопает» в «московских веселостях» и, «как в эти лета водится, влюблен <…> до безумия»[13]. Здесь происходит его сближение

с кружком московских литераторов, в частности с Жуковским; его стихи — «Договор», «Мудрость», — написанные по возвращении из похода, появляются в свет в изданиях Жуковского — «Вестнике Европы», «Собрании русских стихотворений», наряду со стихами Батюшкова и молодого Вяземского. В феврале 1808 года он покидает Москву: началась русско-шведская война, и Давыдов спешит догнать армию в Шведской Финляндии. С разрешения Багратиона, он поступает в авангард Я. П. Кульнева, одного из примечательнейших военачальников суворовской школы, известного своей легендарной храбростью и оригинальностью характера. Под началом Кульнева он служит всю кампанию 1808–1809 годов, участвует в нескольких смелых вылазках и в труднейшем переходе по льду Ботнического залива. Багратион представляет его к награде, но безуспешно: в глазах правительства Давыдов продолжал оставаться неблагонадежным.

Летом 1809 года Багратион был назначен главнокомандующим Задунайской армией, действовавшей на театре русско-турецкой войны; 23 июля он прибывает в Галац и 11 августа принимает командование. Давыдов находится при нем «во всех сражениях того года». В его формулярном списке отмечены участие во взятии Мачина (18 августа), Гирсова (22 августа), сражения при Рассевате (4 сентября), под Татарицей (10 октября)… Когда Багратион был отставлен от командования, Давыдов поступает снова в авангард Кульнева; 22 мая 1810 года он сражается под стенами Силистрии, 11–12 июня — под Шумлой. На этот раз правительство вынуждено наградить его: он получает алмазные знаки ордена святой Анны 2-й степени и — с марта 1810 года — чин ротмистра. Но он сам отказывается от дальнейшего служебного продвижения, когда новый главнокомандующий, граф Н. М. Каменский, входит в резкий конфликт с военачальниками, с которыми Давыдов был связан родственными и дружескими узами, — когда из действующей армии один за другим уходят граф П. А. Строганов, обвиненный фельдмаршалом в рассеивании порочащих его слухов, и Н. Н. Раевский. «Человек, покровительствованный генералом Раевским, — писал он последнему 14 июля 1810 года, — не может уже остаться на поприще брани, где господин Каменский прячется»[14]. Неудачный штурм Рущука 22 июля укрепил его в намерении «дать тягу». В следующем же месяце мы находим его у Раевского в Яссах, затем в Каменке, имении В. Л. Давыдова, а в 1811 году — в Москве и Петербурге. 25 августа 1811 года он пишет из Петербурга письмо Вяземскому — первое дошедшее до нас из их многолетней переписки. В письме — следы не остывших еще московских литературных впечатлений. С Вяземским

Давыдов уже на «ты»; с В. Л. Пушкиным он близок настолько, что тот, по приезде в Петербург в 1811 году, является к нему читать «Опасного соседа». И это, конечно, лишь ничтожная часть его литературных связей. В том же письме он передавал поклоны Ю. А. Нелединскому-Мелецкому. Это существенно, если вспомнить рассказы Вяземского о «великолепных праздниках» у Нелединского, в его доме около Мясницкой, куда были приглашаемы молодые литераторы — в их числе Давыдов и Жуковский[15]. В стихах Давыдова есть след знакомства с поэзией Нелединского-Мелецкого (см. примечание к стих. «Что пользы мне в твоем совете…»). И наконец, еще один результат московских встреч: появление в «Вестнике Европы» 1811 года нескольких стихотворений Давыдова.

Письмо Вяземскому пишется накануне отъезда Давыдова в Житомир, где с осени 1811 года находилась главная квартира 2-й Западной армии под командованием Багратиона. Давыдов вернулся не к Каменскому, а к «генералу своему», как говорит он в автобиографии. Это время для него было временем бездействия, заполняемого курьерскими поездками и «беседами» с «соименным его» Дионисием-Вакхом; сын добавляет к этому, что поэт был влюблен, как всегда, и отпрашивался у начальника во внеочередные отпуски, пропадая по нескольку недель и возвращаясь лишь тогда, когда рассерженный Багратион грозился отправить его в полк[16].

О своих сердечных увлечениях в 1811–1812 годах и более ранних сам Давыдов упоминал постоянно. Почти все его стихи 1810-х годов — это стихи о несчастной любви и измене. Мы можем назвать адресатов некоторых из них, например, Аглаю Давыдову; о других мы ничего не знаем и располагаем лишь неясными намеками в поэтических текстах. Так, в двух его элегиях — пятой и седьмой — упоминается о возлюбленной, с именем которой герой бросался в сечу, четвертая же элегия содержит признание: «в ужасах войны кровавой» (т. е. в 1812–1814 годах) герой еще «не знал» адресата. Элегии посвящены разным лицам, и это предопределило несведенность лирических мотивов внутри цикла, выстроенного задним числом.

Вместе с тем стихи Давыдова 1810-х годов — факт прежде всего литературный, а не биографический, и литературная их генеалогия представляет значительный интерес. Они отражают воздействие «легкой» и уґже — анакреонтической поэзии XVIII столетия, представленной, в частности, в «Аонидах». Выход «Анакреонтических песен» Державина (1804) оживил традицию, вызвав поток подражаний, в том числе в творчестве близких Давыдову Марина и Аргамакова. В «Мудрости», «Чиже и Розе» мы

имеем дело с языком анакреонтической лирики, унаследовавшим от галантной, прециозной поэзии аллегоричность и перифрастичность, равно как и эмблематику образов типа «зефиров», «мотыльков» и самой «розы». Однако даже эти стихи написаны уже рукой, создавшей «бурцовские» послания. В изысканные и манерные аллегории то и дело вторгается дух шуточной и сатирической домашней поэзии. Так, в «Мудрости» аллегорические персонажи предстают в каком-то обытовленном, почти басенном виде. Стихия комического окрашивает галантные стихи, придавая им полупародийный характер. Это особенно ясно сказывается в «Договоре». Давыдов писал элегию — так это стихотворение рассматривала затем критика и так считал сам Давыдов, одно время включавший его в элегический цикл. Через двадцать пять лет он объявил его сатирой и усилил резкость сатирических характеристик. Но «Договор» был и тем и другим — опытом синкретического жанра, объединявшего противоположные начала. Жанр этот не удержался в русской поэзии: в эпоху становления «унылой элегии» он был просто непонятен, — и колебания автора были показательны. Элегические мотивы и ситуации вплелись здесь в контекст сатирической панорамы. Самый сюжет, оформленный словесно в дипломатических профессионализмах: «первая статья», «статья вторая» и т. д., — соотносился с многочисленными стихотворными «объяснениями в любви» от имени моряка, врача, портного и пр.; эта традиция сказалась, между прочим, в «Послании г<ра-фу> В<елеурско>му» (1809) Батюшкова («И новый регламент, и новые законы в глазах прелестницы читать») и в «Песне» («Как залп ужасный средь сраженья…») С. Н. Марина:

> И ты, в душе, тобой плененной,
> Ввела любовный вахтпарад.

Имя Марина, наиболее заметного представителя домашней, кружковой поэзии начала века, возникает здесь не случайно: напомним, что и сам Марин обращался к источнику «Договоров» — «Mes conventions» Э. Виже. Пародийное описание трагедии в давыдовской сатире-элегии (у Виже его нет), где герой как попало ударяет деревянным кинжалом «княжну», с которой потом едет домой ужинать, — находит соответствие в «Превращенной Дидоне» Марина, где подобным же образом вскрывается условность театрального действа: в нем «никто не умирает», и вестник объявляет зрителям о том, что делается за кулисами, соблазняя их скорым окончанием и грядущим ужином. Существенно, однако, что пародийное начало у Давыдова не

снимает и не снижает лирического, оно сочетается и сосуществует с ним, расширяя диапазон авторской интонации и по своей функции сближаясь с романтической иронией. В «Гусаре» Давыдов будет иронически обыгрывать тривиальную образность галантной поэзии: «голубка», «свивающая гнездышко» в кивере гусара, «Амур», гуляющий с гусарской саблей, — но эта устаревшая эмблематика будет скрывать серьезное лирическое содержание. Постоянная смена авторского отношения к изображаемому (переменная модальность текста) — уже достояние новой поэзии: классицизм требовал единства и определенности эмоционального колорита.

1812 год стал переломным в биографии Давыдова. Собственно, Отечественная война и создала привычный нам облик «поэта-партизана», закрепленный традицией. С началом военных действий Давыдов просит Багратиона о переводе в Ахтырский гусарский полк, чтобы «служить во фронте». Командуя первым батальоном, он в течение июня — августа принял участие по меньшей мере в восьми сражениях, а 21 августа предложил Багратиону свой план систематической партизанской войны. План этот, одобренный Багратионом, был встречен с недоверием другими военачальниками, однако Кутузов поддержал его, и Давыдов получил отряд, хотя и весьма скромный: 50 ахтырских гусар и 80 казаков. Так начался его знаменитый партизанский рейд, многократно описанный в исторической литературе, в том числе и самим Давыдовым («Дневник партизанских действий в 1812 году»), — рейд, нанесший ощутимый ущерб тылам наполеоновской армии и ставший началом развернутого и организованного партизанского движения, занявшего большое место в военных планах Кутузова. Уже в двадцатых числах сентября Кутузов считает нужным особо отметить «поиски» Давыдова, в том числе на Смоленской дороге. 28 октября соединенные отряды Давыдова, Фигнера, Сеславина и Орлова-Давыдова одерживают при Ляхове решительную победу над корпусом генерала Ожеро и берут в плен самого командующего.

9 декабря партия Давыдова, двигавшаяся в направлении Виленской губернии, вступила в Гродно. Армия Наполеона уже отступила за Неман. 24 декабря был отдан приказ о перераспределении частей армии, и отряд Давыдова вошел в состав главного авангарда под командованием генерала Ф. Ф. Винценгероде. Самостоятельные действия Давыдова оканчивались; заслуги его наконец были признаны. По представлению Кутузова он получил чин полковника, ордена святого Георгия 4-го класса и святого Владимира 3-го класса. Еще

важнее была репутация «отца партизанской войны», приобретенная Давыдовым. Давыдов настаивал на своем приоритете, который современники и позднейшие исследователи иногда оспаривали, и, может быть, не без оснований; дело было, однако, не в хронологическом первенстве, а в убедительной разработке и обосновании самого принципа и роли партизанского движения в современной войне, — принципа, блестяще подтвержденного военной практикой Давыдова и закрепленного затем в его исторических сочинениях. Партизанское движение опиралось на убеждение в народном характере Отечественной войны 1812 года, — и Давыдов вспоминал потом, как пришло к нему осознание необходимости «в народной войне» «<…> не только говорить языком черни, но приноравливаться к ней и в обычаях и в одежде»[17]. Характерно при этом, что официальный патриотизм афишек Ростопчина Давыдова резко отталкивал; его «приноравливание» предполагало не искусственную стилизацию псевдонародного слога, а органическое сближение с солдатом и крестьянином. Оно происходило естественно; о нем Давыдов рассказал в своих поздних мемуарах.

4 января 1813 года, на третий день после перехода границы, «партизан Ахтырского полка Давыдов», «сходно с приказанием», присоединился к корпусам Винценгероде[18]. Пройдя Вислу и Одер, авангард направился к Дрездену. Подойдя первым к столице Саксонии, Давыдов решился овладеть ею и, после переговоров с защищавшим город генералом Дюрютом, заключил трехдневное перемирие и 10 марта 1813 года вступил в Дрезден. Подошедший 13 марта Винценгероде не санкционировал этих действий; Давыдов был отрешен от командования; ему грозил военный суд. Заступничество Кутузова спасло его; по личному распоряжению Александра I он был возвращен в армию, но уже не получил прежней команды. То с Ахтырским полком, то во главе «партии наездников» он совершает весь заграничный поход 1813–1814 годов до самого Парижа. 23 мая 1814 года, получив шестимесячный отпуск, он выезжает в Москву. Здесь застает его и весна 1815 года.

Давыдов писал в автобиографии, что по возвращении «он предается исключительно поэзии и сочиняет несколько элегий».

Война не отразилась в его поэтическом творчестве, — ее осмысление наступает позднее и ретроспективно. Почти полное отсутствие стихов за 1812–1813 годы как нельзя лучше опровергает легенду, создававшуюся самим Давыдовым, — что его сочинения писались «при бивачных огнях», в минуты отдыха между сражениями. Для поэзии ему нужен был досуг, увлечения,

мирная жизнь, полная сменяющихся культурных впечатлений и интеллектуального общения. О Давыдове — «говоруне», «словоохотливом весельчаке», рассказчике, острослове вспоминают многие мемуаристы. И. И. Лажечников много лет помнил, как он однажды встретил Давыдова в 1813 году в кружке Н. Н. Раевского, в садике одного из силезских городков: «С азиатским обликом, с маленькими глазами, бросающими искры, с черною как смоль бородой, из-под которой виден победоносец Георгий, с брюшком, легко затянутым ремнем», он что-то рассказывал под хохот окруживших его офицеров. Речь его была остроумна и саркастична, — это качество, памятное всем, его слышавшим, сам он высоко ценил и закрепил его в автохарактеристике в стихотворении «Полусолдат»:

> Он, расточитель острых слов,
> Им хлещет прозой и стихами.

Лажечников, конечно, вспоминал эти стихи, когда писал о Давыдове: «Хлестнет иногда в кого арканом своей насмешки, и тот летит кувырком с коня своего»[19]. Эта индивидуальная особенность находила выход в эпиграммах, которые Давыдов писал легко и охотно, до самого конца жизни; в этом же качестве он предстал перед кругом своих московских друзей. Еще не оправившаяся от страшных разрушений, Москва праздновала победу «в шумных кликах торжества», «запивая» «свой пожар и блеск похода», как потом вспоминал об этом Вяземский, воскрешавший в стихах «К старому гусару» (1832) «весь тот мир, всю эту шайку беззаботных молодцов», к которой в первую очередь принадлежал и Давыдов. Давыдов очень любил эти стихи и варьировал из них строки: «Будут дружеской артели Все ребята налицо». Уже через десятилетие с лишком эта эпоха рисовалась ему как дни юности и «заблуждений разгульных, любовных и поэтических», когда собирались «за шампанским с Толстым, с Жуковским, с Батюшковым» (письмо Вяземскому от 20 июля 1828 года)[20]. От нее остается целая серия анекдотических рассказов о гомерических кутежах. Эта «поэзия разгула» в значительной мере условна. Тот же Вяземский вспоминал впоследствии, что Давыдов «поэтизировал», говоря о своих попойках, что он был всегда очень возбужден и «умен <…> был, а пьяным не бывал»[21]. В свое время Ермолову придется объяснить Николаю I разницу между реальным Давыдовым и поэтическим образом Давыдова-гусара, а князю А. Г. Татищеву успокаивать будущую тещу поэта: «Давыдов, когда его хорошо узнаешь, только хвастун своих пороков»[22].

«Хвастовство» имело, однако, социальный смысл и функцию,

которую очень хорошо чувствовали современники эпохи, например Ф. Н. Глинка. Оно было эмоциональным бунтом против казенной регулярности, «монотонии и глухой обыденности», бунтом, скрывавшим за собою субъективное неприятие существующих социально-бытовых, нравственных и даже политических норм[23]. Еще в 1820-е годы «вакхическая» поэзия будет в ортодоксальном сознании связываться с понятием «либерализма». Такая связь зарождается в первые послевоенные годы, — и не случайно именно из «дружеской артели» выходят гедонистические стихи с прямыми политическими аллюзиями, подобные стихам Вяземского «К партизану-поэту» (1815). Денис Давыдов становится героем целой серии подобных посланий, — это как раз та фигура, которая дает благодарный материал для поэтического обобщения: «счастливый певец Вина, любви и славы» (В. А. Жуковский, «Певец во стане русских воинов», 1812), «Анакреон под дуломаном, Поэт, рубака, весельчак» (Вяземский, «К партизану-поэту», 1815). Обращенные к нему стихи составляют своего рода антологию, которую сам Давыдов тщательно собирал и переписывал, и в этой антологии за ним закрепляется привычная для нас формула «поэт и партизан», — характеристика не профессиональная, а образно-поэтическая, обе части которой соединены и взаимно обусловлены по законам художественной связи. К этому поэтическому портрету прочно прикрепляется также поэтическая тема дружеского пира; при этом послания к Давыдову опираются на его собственные, ходившие в списках «гусарские» стихи и воскрешают фигуру Бурцова — своего рода символ гусарской вольницы.

Стихи Давыдова 1814–1815 годов включаются в этот общий контекст. Но как раз его послание Ф. И. Толстому — «Болтун красноречивый…» (1815) — показывает, какой сдвиг произошел в его творчестве. «Болтун красноречивый…» — уже не «бурцовское» послание. В нем звучит тема «интеллектуального пира». «Круг желанный Отличных сорванцов», «владельцы острых слов» — все это решительно противостоит вызывающей примитивности пиров 1804 года. Мотив «остряков» здесь едва ли не доминирующий. Это очень ясно в упомянутых уже стихах Вяземского «К партизану-поэту», перекликающихся с Давыдовским посланием, — на этом пиру

Родятся искры острых слов,
Друг друга гонят, упреждают
И, загоревшись, угасают
При шумном смехе остряков!

Через несколько лет тема получает прямо социальное звучание в послании Пушкина к «Зеленой лампе» («Горишь ли ты, лампада наша», 1822):

> Кипишь ли ты, златая чаша,
> В руках веселых остряков? —

и заново возникает в «декабристских строфах» «Онегина».

Бурцов посланий 1804 года встречал монологи поэта-гусара красноречивым молчанием: «Нос твой рдеет, лоб твой жмется, Отвечать тебе невмочь…» («Бурцову», первая редакция). Здесь противоположный принцип изображения; он будет продолжен в «Песне старого гусара»:

> Ни полслова… Дым столбом…
> Ни полслова… Все мертвецки
> Пьют — и, преклонясь челом,
> Засыпают молодецки.

Эта ретроспектива уже тронута легкой иронией: не забудем, что «старые гусары» представлены как «председатели бесед». Между новомодными интеллектуалами, говорящими о Жомини, и «коренными» воинами, чье ремесло — «кровавый бой», появляется новое, ценностно значимое звено: вольнодумцы и поэты, связанные узами дружества и единомыслия. После 1815 года всерьез героизировать Бурцова уже невозможно. И может быть, поэтому в послании Толстому 1815 года нет ни «куля овса», ни «стаканов пуншевых», но есть венки из плюща, Вакх и страсбургский пирог. Быт эстетизирован, интеллектуальный пир проецирован на греческий симпосий. Здесь ощущаются явные и давно замеченные исследователями следы воздействия поэтики Батюшкова.

Литературные отношения Давыдова и Батюшкова мало исследованы, — между тем они составляют особую проблему, весьма существенную при изучении творчества Давыдова. Взаимные оценки поэтов благожелательны, и даже более: Давыдов прямо признается в своем «восхищении» «гением» Батюшкова[24]. «Бурцовские» послания Давыдова эстетически подготавливали «Мои пенаты»: бытовая сфера батюшковского послания — «стол ветхий и треногий С изорванным сукном» — функционально близка давыдовской, при всех внешних

различиях; это тоже быт не повседневный, а символический. С другой стороны, батюшковский «ленивый мудрец» появляется уже в стихотворении Давыдова 1813 или 1814 года («К Е. Ф. Сну…»). Когда в 1814 году выходят из печати «Мои пенаты», они меняют поэтическую систему давыдовских посланий. Самый стих послания «Болтун красноречивый…» — астрофический трехстопный ямб «Моих пенатов», а античный колорит — не колорит в собственном смысле, но поэтические эвфемизмы, своего рода эквиваленты «высокого», «поэтического», «украшающего» слога. Этот язык не был исключительной и индивидуальной особенностью «Моих пенатов»: за ними последовали два других послания Батюшкова — «К Ж<уковско>му» (1812) и «Ответ Т<ургене>ву» (1812); в первом из них есть описание эпикурейского обеда, близкое к тому, какое мы находим в послании Давыдова:

…вины
И портер выписной,
И сочны апельсины,
И с трюфлями пирог…

В разное время и вне хронологической последовательности в печати появляется целый ряд посланий, порожденных «Моими пенатами»: «К Батюшкову» Жуковского, «К Д. В. Дашкову» В. Л. Пушкина, «К подруге» и «К Батюшкову» Вяземского. Стихи Давыдова к Ф. Толстому включаются в этот поток (частью, несомненно, известный Давыдову до печати) и усваивают его поэтические темы, — не только тему дружеского пира, но и другую: тему «двора» и «света» как благ иллюзорных, мнимых, которым противопоставлены подлинные жизненные и духовные ценности. Тема эта порождает словесные формулы с устойчивыми значениями. «Молодые счастливцы», «баловни природы» — эти поэтические фразеологизмы из «Моих пенатов» войдут затем как ключевые в декларации Пушкина и «союза поэтов». Но определение «счастливцы» появляется у Батюшкова, и с негативным смыслом:

Развратные счастливцы,
Придворные друзья
И бледны горделивцы,
Надутые князья!

Именно в этом значении формула появится у Давыдова —

много позже, в элегии «Бородинское поле»:

…Счастливцы горделивы
Невольным пахарем влекут меня на нивы.

Здесь была уже не только поэтическая, но и общественная ориентация.

Еще в 1814 году за сражение под Бриеном Давыдов был произведен в генерал-майоры. В конце года в приказах было объявлено об ошибочном производстве. Это недоразумение, выяснившееся только в 1815 году, было для Давыдова еще одним доказательством настороженно-недоброжелательного отношения к нему двора и более всего великого князя Константина Павловича. Но Давыдов столкнулся, скорее всего, не столько с личной «ненавистью», сколько с военно-бюрократической машиной, безличными общими распоряжениями, силой которых его удерживали без дела в Варшаве всю вторую половину 1815 года, гасили его воинскую инициативу, заставляли заниматься штабной работой, «парадами и формировкой». В январе 1816 года он в Киеве; он получает наконец следующий чин и назначения; сначала при начальнике 1-й драгунской дивизии, затем, по неотступным просьбам, во 2-ю гусарскую дивизию. В 1818–1819 г одах он начальник штаба 7-го, затем 3-го пехотного корпуса, дислоцированного в Кременчуге. Оставленный в глубокой провинции, он стремится не сидеть на одном месте и проводит время в инспекторских смотрах и беспрестанных поездках то в Киев, то в Москву и Петербург. Ему нужен дом и семья; в 1816 году он собирается жениться на Е. А. Злотницкой, но брак расстраивается. Все эти перипетии отражаются в его стихах.

1815–1819 годы — годы наибольшей близости Давыдова к деятелям тайных обществ юга — близости и чисто географической, и идейной. Он дружен с М. Ф. Орловым; он свой человек в Тульчине и Каменке. Его ближайшие покровители, сослуживцы и друзья поддерживают тесные связи с активнейшими деятелями будущего декабризма: Пестель, И. Г. Бурцов — доверенные лица П. Д. Киселева, М. А. Фонвизин — Ермолова, С. Г. Волконский станет зятем Н. Н. Раевского. Да и сами Киселев и Ермолов занимают в военной администрации особое положение: они тронуты духом оппозиции настолько, что будущие декабристы рассчитывают на них как на прямых союзников.

О политике правительства Давыдов в эти годы высказывается резко и недвусмысленно. Он преисполнен отвращения к Аракчееву и аракчеевщине, военной бюрократии, «парадным

генералам», наследникам гатчинских экзерцицмейстеров, «пресмыкающимся» перед властью, чтобы снискать «кусок эмали или несколько тысяч белых негров»[25]. Подобно Киселеву и Орлову, он требует уважения к солдату и с энтузиазмом принимается за организацию ланкастерских школ по орловской методе. Он посылает в петербургский «Военный журнал» статьи о 1812 годе, — что в 1817–1818 годах было общественным жестом: тема «народной войны» была в эти годы если не запретной, то нежелательной. Наконец, он знает что-то о проектах «Ордена русских рыцарей» М. Ф. Орлова и М. А. Дмитриева-Мамонова. Но перед декабристскими проектами социального переустройства он останавливается.

«Мне жалок Орлов с его заблуждением, вредным ему и бесполезным обществу, — пишет он П. Д. Киселеву в известном письме 1819 года. — …Как он ни дюж, а ни ему, ни бешеному Мамонову не стряхнуть самовластие в России. Этот домовой долго еще будет давить ее, тем свободнее, что, расслабев ночною грезою, она сама не хочет шевелиться, не только привстать разом. Но мне он не внемлет!» Его план — постепенная «осада», «пока, наконец, войдем в крепость и раздробим монумент Аракчеева»[26]. В отличие от П. Д. Киселева, он не склонен возлагать надежды на реформы сверху; в отличие от Орлова, не верит в эффективность революционного взрыва. В 1823 году он с сочувствием следит за ходом испанской революции и жалеет о падении Мадрида; в интереснейшем письме к А. Я. Булгакову он набрасывает общий очерк политической жизни последних десятилетий: после победы над Наполеоном наступила всеобщая реакция; на сцену вышли «магнетизм» и «Крюднерша» — обскурантизм мистических и политических сект, Священного союза, клерикальных кругов. «Я начинаю верить, — заключает он свое письмо, — что инквизиция и самодержавие есть притягательное дыхание диавола, от коего человеческий род спастись не может»[27]. Это апогей политического критицизма, — но вместе с тем и политического скептицизма. Скептицизм Давыдова не есть стройная, продуманная система взглядов, присущая политическому мыслителю; у него нет и сколько-нибудь оформленной позитивной программы. Он был несомненно искренен, когда говорил о своих монархических убеждениях, — но таких, которые не нравились реальным монархам; подобно многим из умеренных просветителей XVIII–XIX веков, он был противником «деспотии», «самовластия», — и не более того. Он знал, однако, что в реальных условиях России середины 1820-х годов политическая реальность — именно «деспотия», а не «просвещенный абсолютизм», — и не только это убеждение, но и

пессимизм, вызванный в нем поражением европейских революций, сближает его с многими деятелями декабризма и с Пушкиным: это охвативший почти всю мыслящую часть общества «кризис 1823 года». Теперь Давыдов готов принять самодержавие как неизбежное зло. В. Д. Давыдов помнил, что отец его возражал даже против конституционного ограничения монархии, предпочитая «одного большого тирана» «массам маленьких, подкрашенных красноречием». К сожалению, мы не знаем, к какому времени относится это высказывание; может быть, оно принадлежит уже 1830-м годам: оно близко той позиции, которая отразилась в «Современной песне». Как бы то ни было, Давыдов продолжал сохранять неприязнь к современной ему официальной России, но в нем крепло и недоверие к «духу революционных преобразований». По-видимому, эти настроения улавливали и члены тайных обществ. По семейному преданию, сохраненному сыновьями Давыдова, заговорщики намеренно избегали его, чтобы не замешать[28]; сам он вспоминал, что, «находясь всегда в весьма коротких сношениях с участниками заговора», он «не был, однако, никогда посвящен в тайны этих господ». Когда на смену Союзу Благоденствия пришли подлинно конспиративные общества, декабристам нужны были уже не сочувствующие и сомневающиеся, но единомышленники. Когда же, незадолго до восстания, двоюродный брат Давыдова, Василий Львович, все же пригласил его запиской «вступить в Tugendbund», он ответил: «Что ты мне толкуешь о немецком бунте? Укажи мне на русский бунт, и я пойду его усмирять»[29]. Эта полушутка как нельзя лучше показывает двойственное положение Давыдова в реальной обстановке современной ему России: критикуя правительство, он ощущал себя «солдатом», обязанным служить верой и правдой, но все время оказывающимся в оппозиции силою вещей. Двойственным было и отношение к нему: его награждали за «службу», но не считали «своим»; не верили в начале его пути, не верили и под конец жизни[30].

Социальное сознание Давыдова получит в его стихах непосредственное отражение позднее, в 1828–1830 годах. Во второй половине 1810-х годов он выступает исключительно как лирический поэт. Это время — период его интенсивного творчества и продолжающихся литературных контактов. Его среда, как и прежде, — московский круг молодых последователей Карамзина, формирующий в 1815–1817 годах литературно-полемическое общество «Арзамас».

Сохранилось очень немного свидетельств об организационном участии Давыдова в «Арзамасе». Он был принят

в члены 14 октября 1815 года и получил шуточное прозвище «Армянин» (из баллады Жуковского «Алина и Альсим»). На заседаниях он, по-видимому, ни разу не присутствовал.

Ф. Ф. Вигель вспоминал, что петербургские «арзамасцы» Давыдова «никогда меж себя не видали. Он находился в Москве: там вместе с Вяземским и <В. Л.> Пушкиным составили они отделение „Арзамаса“, и заседания их посещали Карамзин и Дмитриев»[31]. Все это вряд ли достоверно и рассказано по слухам. Александр Тургенев, блюститель традиций «Арзамаса», даже не мог вспомнить арзамасского прозвища Давыдова. То, что прежними издателями Давыдова считалось его вступительной «арзамасской» речью и было в 1893 году напечатано в собрании его сочинений, является, как ныне установлено, слегка отредактированной речью Андрея Тургенева в «Дружеском литературном обществе», относящейся еще к 1801 году[32]. Однако нужно говорить не об участии Давыдова в кружке в собственном смысле слова, а о принадлежности его к неформализованной группе литераторов, которая в современной исследовательской литературе обозначается как «арзамасское братство» и которую объединял не устав и совместные заседания, а дружеские и профессиональные связи, ощущаемые как общность[33]. Эти связи и эта общность установились у Давыдова с Батюшковым, Жуковским, Вяземским еще в начале века; подобно им, он был «арзамасцем до Арзамаса». В «Арзамас» он пришел естественно и разделил с ним профессиональные интересы и даже профессиональные привычки. Он писал Жуковскому в декабре 1829 года, посылая свои стихи: «…все тебе отдаю на суд; ты архипастырь наш, président de la chambre du conseil (председатель суда. — *Сост.*); что определишь, то и будет…» Его письма Вяземскому пестрят настоятельными просьбами: «Прошу поправить, да непременно поправить, иначе я точно рассержусь»[34]. Позднее он изберет себе и других поэтических арбитров — Баратынского, Языкова. За всем этим стоит литературный быт и психология кружка, причем именно «арзамасского» кружка. И признание безусловного приоритета Жуковского в области поэтического «слога» — несмотря на любые расхождения как социального, так и общеэстетического свойства, и взаимная стилистическая критика, — все это входило в систему литературных взаимоотношений «арзамасского братства». «Критика слога» органически включалась в эстетическую программу «школы гармонической точности» с ее критериями «вкуса», «соразмерности и сообразности». И здесь возникало явление почти парадоксальное. Постоянно подчеркивая непрофессиональность, импульсивность, небрежность своего

творчества и стиля, Давыдов настойчиво требует от друзей его «полировки» и в то же время сам с почти педантическим упорством работает над отдельными строками и словами. Не много найдется современников Давыдова, которые бы вносили лексические изменения почти в каждую новую публикацию и даже почти в каждую автокопию своих стихов. Давыдов делал это.

Варианты его стихов, расположенные в хронологической последовательности, дают нам очень выразительную картину типично «арзамасской» творческой лаборатории. За редким исключением, он не создает новых редакций: он отшлифовывает раз написанное на уровне строк и слов, ища логической и гармонической точности и адекватности смысловых и стилистических оттенков. Это именно критика «вкуса»; недаром же он постоянно упоминает в письмах о «нескольких пятнах грязи», которые просит вычистить, и жалуется на неточности, с которыми не может справиться сам.

Ему нужен общий поэтический фон, на котором стилистический оттенок дает семантический сдвиг, не контрастирующий, а гармонирующий с целым, и тем не менее ясно ощущаемый. Это был общий закон поэтики Батюшкова — Жуковского[35].

Давыдов оживляет, казалось бы, стертые поэтизмы, наполняя их конкретно-чувственным содержанием; он играет оттенками, обертонами, соотношениями тропа и общего контекста, — он владеет всеми теми специфическими средствами поэтического языка пушкинской поры, которые были материализацией основного эстетического требования — «вкуса» и «гармонии».

Но этого мало. Он сам принимает участие в коллективных стилистических разборах «арзамасских» стихов с позиций «гармонической точности» — и на это время сбрасывает с себя маску ученика и дилетанта, с профессиональной определенностью заявляя иной раз свое особое мнение. Блестящим примером такого разбора является письмо его Вяземскому о стихах Пушкина «Жуковскому» (июнь 1818 года), приведших в восторг Вяземского и Жуковского. Давыдов решительно противопоставляет их отзывам свое суждение. «Стихи Пушкина хороши, — пишет он, — но не так, как тебе кажутся, и не лучшие из его стихов. Первые четыре для меня непонятны. Но *И быстрый холод вдохновенья Власы подъемлет на челе* прекрасно! И меня подрал мороз по коже. От стиха сего до рифмы *ясным* не узнаю молодого Пушкина. *В дыму столетий* чудесно! но *великаны сумрака* Карамзина… что скажешь? А мысль одинакая. Замечание твое насчет *злодейства* и *с сынами* справедливо. Теперь от рифмы *окружен* до рифмы *земной* я слышу Василия Львовича, напев его.

Но стих *И в нем трепещет вдохновенье* — прелестен! Вот мое мнение насчет этих стихов» [2]. Это критика не только «слога» — неточностей поэтического словоупотребления. Давыдов идет дальше Вяземского; он касается вопросов лирической композиции, отмечая длинноты, ослабляющие поэтическую энергию. В «арзамасской» фразеологии имя В. Л. Пушкина, «напев» его означали вялость, «водяность» стиха. Во второй редакции Пушкин сократил послание почти наполовину, убрав и первые четыре строки, и всю вторую часть, где находились стихи, напомнившие Давыдову «Василия Львовича»; эта новая редакция создавалась уже тогда, когда Пушкину могли быть известны давыдовские замечания.

У нас есть все основания считать, что именно в «арзамасской» среде, в Москве, в конце 1817 — начале 1818 года созрела мысль об издании первого сборника стихов Давыдова. Он должен был открываться элегиями. Новый период творчества «поэта-партизана» проходил под знаком элегий, написанных им в 1814–1818 годах, посвященных разным адресатам, но ныне выстроенных в единый лирический цикл, — своего рода книга элегий, подобная IV книге «Po é sies é rotiques» Парни и, вероятно, прямо на нее ориентированная. Единство цикла обеспечивалось единством лирического героя и лирической эмоции; каждая ситуация составляла как бы главу лирического романа, обозначенную заглавием. Это собрание читал Жуковский, сделавший замечания по жанровому составу и вовсе не коснувшийся стиля.

Здесь возникает еще один ложный парадокс. Давыдов упорно требовал от Жуковского поправок, — Жуковский с таким же упорством отказывался их делать. «Ты шутишь, требуя, чтобы я поправил стихи твои. Все равно, когда бы ты сказал мне: поправь (по правилам малярного искусства) улыбку младенца, луч дня на волнах ручья, свет заходящего солнца на высоте утеса и пр. и пр. Нет, голубчик, не проведешь»[36]. «Прелесть» «музы Давыдова» для Жуковского — именно в ее «небрежности», непосредственности, способности быть мгновенным отпечатком душевных движений, сохраняя ту эмоциональную энергию, которая исчезает при прикосновении «искусства». Именно ее, как мы видели, искал Давыдов в стихах «молодого Пушкина».

Это качество поэтической энергии, экспрессии сам Давыдов более всего ценил в своих стихах, употребляя для ее обозначения метафору-термин «огонь». «Огонь» в его элегиях принадлежал самому лирическому герою, решительно отличавшемуся от героя «унылой элегии», родоначальником которой был сам Жуковский и которая под пером его последователей уже начинала

превращаться в канон. Элегический герой Давыдова страстен, а не уныл и не мечтателен, и роль его — действие, а не медитация. Поэтому на него не распространяются и те этические и эстетические запреты, которыми ограничена сфера чувств и поведение «унылого» элегического героя. Ему доступна ревность и желание мести; он не спиритуалистичен, а скорее чувствен. Когда Пушкин в стихотворении «Мечтателю» (1818) объявит войну концепции «унылого» элегического героя, он прежде всего поставит под сомнение подлинность его чувства и противопоставит ему давыдовского героя. Истинная любовь — не «тихое уныние», а «страшное безумие», «бешенство бесплодного желанья». Строка из VIII элегии Давыдова осмысляется здесь как формула романтической концепции любви.

Пушкин признавался, что уже в молодости под влиянием Давыдова стал писать «круче» и «приноравливаться» к его «оборотам»[37]. «Кручение стиха» — тоже своеобразная формула, которой Пушкин определял поэтику давыдовских элегий. При этом он имел в виду вовсе не гусарскую «грубость», которая в элегиях полностью отсутствует, а их экспрессивный рисунок. Упомянутая нами превосходная VIII элегия очень показательна в этом отношении. Поэтический синтаксис этой элегии не «элегичен» — в том смысле, в каком это слово употребляла формирующаяся теория жанра, — он принадлежит скорее ораторскому периоду. Для элегий Давыдова характерен зачин-обращение, личное или внеличное:

Возьмите меч — я недостоин брани!
Сорвите лавр с чела — он страстью помрачен!

(<Элегия I>)

О ты, смущенная присутствием моим,
Спокойся: я бегу в пределы отдаленны.

(<Элегия VI>)

Нет! полно пробегать с улыбкою любви
Перстами легкими цевницу золотую…

(<Элегия VII>)

О пощади! — Зачем волшебство ласк и слов…

(<Элегия VIII>)

Здесь не просто поэтический прием — здесь стилевой ключ. Элегия строится на вопросительной или восклицательной интонации. Это заметил Пушкин, — когда в «Андрее Шенье» он заставит заговорить элегического поэта:

Погибни, голос мой, и ты, о призрак ложный,
Ты, слово, звук пустой… —

он словно станет варьировать интонационно-синтаксический рисунок IX элегии Давыдова:

Погибните навек, мечты предрассуждений,
И ты, причина заблуждений,
Чад упоительный и славы, и побед!

Но вернемся к «Элегии VIII». Ораторская интонация нарастает; лирическая тема «возлюбленной» строится на анафорических повторах. Портрет ее возникает отраженно, в восхищенном созерцании. В нем нет никаких описаний, ни одной конкретно узнаваемой черты — как развевающиеся по ветру волосы героини батюшковской «Тавриды», — в нем говорит чистая эмоция.

…Зачем сей взгляд, зачем сей вздох глубокий,
Зачем скользит небережно покров
С плеч белых и груди высокой?
О пощади!..

Повтор, еще подчеркнутый паузой переноса, кольцеобразно замыкает тему «возлюбленной». Возникает вторая тема — «любовника»; она вступает в свои права в следующих строках, где, совершенно так же, как в первом четверостишии, лирическая эмоция нарастает, нагнетается уже средствами лексики — беспорядочно, на первый взгляд, нагромождаемыми однородными сказуемыми, словно поэт мучительно ищет единственного точного и всеохватывающего слова. Но это иллюзия: хаос здесь мнимый. Он точно выверен и рассчитан. Глаголы, призванные передать состояние героя, не тождественны по значению — они играют тончайшими смысловыми оттенками:

…я гибну без того,
Я замираю, я немею
При легком шорохе прихода твоего;
Я, звуку слов твоих внимая, цепенею…

Создается экспрессивное поле, в следующих строках еще повышающее свое напряжение:

Но ты вошла — и дрожь любви,
И смерть, и жизнь, и бешенство желанья
Бегут по вспыхнувшей крови,
И разрывается дыханье!

Этот эмоциональный гиперболизм станет затем особенностью любовной лирики 1830-х годов. Стихи Давыдова предвосхищали и поэтический «хмель» Языкова, и метафорическую экстатичность «байронистов» лермонтовского поколения, и эротику Бенедиктова. Но у Давыдова ценностные и эмоциональные ореолы слова не поглощают его логического значения, как это нередко будет случаться в поэзии 30-х годов: экспрессивность стиха умеряется требованием «гармонической точности»[38].

Элегии Давыдова ждала своеобразная судьба. Их поэтические открытия сказались не ко времени в эпоху господства «унылой элегии». Последняя в 1810-е годы была продуктивным жанром, из которого предстояло вырасти аналитической элегии Баратынского. В 30-е же годы Давыдов отказывается от этого жанра и смотрит на свои элегии как на стихи «старинной выделки». Он не сумел сам оценить своего новаторства, но очень ясно ощущал генеалогию своих стихов.

Дело в том, что корни давыдовской элегии уходили еще в доромантический период. Она создавалась не после «унылой элегии», а параллельно с ней, и ее «строительным материалом» была «легкая поэзия», анакреонтика, послание, промежуточные жанровые формы типа стансов и «песен». Поэтому-то жанровые каноны новой, преромантической элегии и не оказали воздействия на Давыдова: он прошел мимо них. В эпоху, когда русская поэзия культивировала героя шиллеровских «Идеалов» или «Падения листьев» Мильвуа, его героем продолжал оставаться элегический либертин, обрисованный в стихах Парни. Он сохранил в своей элегии и то, против чего боролись элегики новой формации: сложное переплетение стилистических и модальных планов — от гнева до лирической жалобы и иронии, от патетики до просторечия. Поэтому источники и аналоги его

элегиям обнаруживаются иногда за пределами элегического жанра.

Как и ранее, он более всего близок к Батюшкову, многие стихи которого знает, вероятно, до печати. В элегии VII есть след воздействия батюшковского «отрывка» «Воспоминания»:

Я именем твоим летел под знамя брани
Искать иль славы, иль конца;
В минуты страшные чистейши сердца дани
Тебе я приносил на Марсовых полях…

Эти стихи еще не были напечатаны, когда Давыдов писал:

О Лиза! сколько раз на Марсовых полях,
Среди грозы боев, я, презирая страх,
С воспламененною душою
Тебя, как бога, призывал…

Он переводит девятую элегию Парни, как будто следуя по пятам за Батюшковым, и оказывается ближе к нему, чем к оригиналу:

Нет, нет! являюсь опять, но как посланник мщенья,
Но как каратель преступленья…

У Батюшкова, в том же 1816 году:

Нет, в лютой ревности карая преступленье,
Являюсь, как бледное в полуночь привиденье…

Или в «Элегии VII» Давыдова:

Никто не окропит холодный труп слезой,
И разбросает ветр мой прах с песком пустынным!

Это парафраза батюшковского «Веселого часа»:

…Ничьей слезой
Забвенный прах не окропится…

Еще более интересно, что в его элегиях оживают структурные принципы любовных стихов Карамзина, некогда прочитанных им в «Аонидах», — «К неверной», «К верной», «Послание к женщинам», «Отставка», — эти стихи, объединенные темой любви и измены, он хорошо помнил и иной раз сознательно перефразировал (см. примечание к стих. «Ответ на вызов написать стихи…»). Они уже вовсе не были «элегиями» в понимании первого десятилетия XIX века: они допускали рассуждение, сентенцию, прозаизм, иронию — все то, что исключила новая элегия и что сохранил Давыдов. В «Отставке» Карамзина мы находим уже знакомый нам случай метафорического использования профессиональной военной лексики, — такой же, как в давыдовском «Неужто думаете вы…» (кстати, в первой публикации названном «Отставка», а во второй — «Неверной»). В «Послании к женщинам» мы без труда обнаружим почти «давыдовские» патетические монологи, с вопросительными и восклицательными интонациями, с широким эмоциональным диапазоном:

Когда познаешь ты приятность вольной страсти?
Когда в тебе любовь сердца соединит,
Не тяжкая рука жестокой, лютой власти?
Когда не гнусный страж, не крепость мрачных стен,
Но верность красоте хранительницей будет?

Это все очень близко II элегии. А вот — в том же послании — темы и интонационный строй элегии VII:

О вы, для коих я хотел врагов разить,
Не сделавших мне зла! хотел воинской славой
Почтение людей, отличность заслужить…

Эту связь, видимо, и ощущал Давыдов, когда причислял свои элегии к галантной поэзии предшествующего столетия. Но он переоценивал значение их родословной, ибо сами стихи принадлежали уже новой эпохе.

Военная карьера Давыдова практически оканчивается в начале 1820-х годов. В 1819 году он женится на С. Н. Чирковой («выходит замуж», как острит Федор Толстой) и живет в Москве и под Москвой, числясь в длительных отпусках. Его неприязнь к военной бюрократии отлично известна в столице; к тому же с юных лет он пользуется репутацией неблагонадежного. В 1822–1824 годах Ермолов несколько раз просит о переводе его на

Кавказскую пограничную линию, о чем хлопочут Закревский и Волконский, но на все ходатайства следует отказ. «Нет нам удачи с Денисом, — пишет Закревскому обиженный Ермолов, — и больно видеть, что неосторожность и некоторые шалости в молодости могут навсегда заграждать путь человеку способному»[39]. В 1823 году Давыдов окончательно выходит в отставку.

В эти годы расширяются его литературные связи. Имя его окружено ореолом легенды; реальный облик проецируется на его стихи. Молодой М. П. Погодин, встретивший его у А. В. Всеволожского, записывает в дневник: «Огонь! — с каким жаром говорил он о поэзии, о Пушкине, Жуковском.

В молодости только можно писать стихи, надобно гроза, буря, надобно, чтоб било нашу лодку отовсюду <…> Теперь я в пристани, на якоре. Теперь не до стихов! Как восхищался Байроном, рассказывал места из него <…> Негодует на Жуковского, зачем он только переводит. — Нет воображения. <… > Говорил о своем дневнике, биографии и пр. Огонь, огонь»[40]. Этот стилизованный портрет романтического поэта отчасти сознательно создавался самим Давыдовым.

Он легко и свободно сходится с литературной молодежью; А. А. Бестужев и Грибоедов попадают под его обаяние. В 1824 году он буквально засыпает Закревского просьбами об облегчении участи Баратынского и вместе с Жуковским и А. Тургеневым добивается наконец почти недостижимой цели; освободить опального поэта от солдатской лямки, выхлопотав ему офицерский чин и вожделенную отставку. С этого времени начинается постоянное литературное общение Давыдова и Баратынского.

Стихов в эти годы он, по-видимому, вообще не пишет и работает только над военными сочинениями: выпускает «Опыт теории партизанских действий» (1821, 1822) и публикует в «Московском телеграфе» «Разбор трех статей, помещенных в записках Наполеона» (1825). Однако он пишет свою автобиографию — ту самую, о которой упоминал Погодин и которая была в ранней редакции готова уже в 1821 году.

Здесь, в Москве или в подмосковной, застает Давыдова известие о восстании 14 декабря. Как он принял это известие, мы не знаем. С отъездом в Москву прервались его личные контакты с членами южных обществ, и еще в 1822 году, получив стереотипное требование подписки о неучастии в масонских ложах, он с возмущением написал Закревскому, что эта «форма» для него «неприлична», так как он не был и не будет ни в масонах, ни в каких других тайных обществах[41]. Следствие над

декабристами обнаружило непричастность Давыдова к заговору, но, несмотря на это, у нового правительства он пользовался симпатиями, быть может, еще меньшими, нежели у прежнего. Неприязнь была взаимной. В «Анекдотах о разных лицах…», писанных Давыдовым для себя, рассеяно множество рассказов, рисующих Николая I в крайне невыгодном свете, — рассказов о давнем недоброжелательстве императора к кумиру Давыдова — Ермолову, о бессмысленной педантической жестокости к участникам восстания, о страхе, испытанном им 14 декабря… Хотя следствие не коснулось самого Давыдова, оно затронуло его ближайший дружеский и родственный круг — М. Ф. Орлова, В. Л. Давыдова, семью Раевских, Грибоедова, а Вяземский и Баратынский, с которыми он был тесно связан в Москве, находились в глухой оппозиции к новому режиму.

Тем не менее Давыдов рассчитывает на перемены и начинает хлопотать о возвращении на службу. Успех означал бы для него гражданскую реабилитацию. В первых числах августа 1826 года, в дни коронационных торжеств, он был принят императором и обласкан. Николай поступил с Давыдовым почти так же, как месяцем позже — с Пушкиным: он стремился нейтрализовать и привлечь на службу лучшие силы прежней оппозиции. Вместе с тем здесь был и более близкий, прагматический расчет: представление Давыдова роковым образом совпало с началом русско-персидской войны.

Николай I отправил Давыдова на Кавказскую линию, к Ермолову, сделав то, чего Ермолов и Давыдов тщетно добивались от Александра I в течение двух лет. Но устранение Ермолова было уже предрешено императором: несколькими днями ранее на линию был отправлен генерал И. Ф. Паскевич, формально в качестве помощника, подчиненного Ермолову, фактически — как его преемник, с особыми полномочиями.

15 августа Давыдов выехал на Кавказ, «со стесненным сердцем» и обливаясь слезами, как признавался он потом в «Воспоминаниях о 1826 годе»[42]. Несмотря на его бодрые заявления в письмах к Закревскому, что он готов «грянуть» и что «надо по крайней мере еще лет пять и две или три войны, тогда только уломают бурку крутые горки»[43], осуществление его мечты о «войнишке» оказалось для него полной неожиданностью. Он был не слишком молод, не вполне здоров, он отправлялся в места, охваченные эпидемией, оставляя детей и беременную жену. Его письма жене с дороги выдают его душевную депрессию[44]. Часть пути он совершает вместе с Грибоедовым, только что освобожденным из-под ареста; их разговоры, несомненно, касаются событий 14 декабря и судьбы, ожидающей

Ермолова с приездом Паскевича.

Все эти обстоятельства подготовили тот надлом, который пережил Давыдов в 1826–1827 годах и который прямо отразился в его поэтическом творчестве. Современные свидетельства очень выразительно рисуют нам начавшееся сразу после приезда Паскевича резкое обострение отношений между генералами и атмосферу доносов, наушничества и тайных интриг, которая окружила Давыдова в сентябре 1826 года. Ноты разочарования звучат в дневнике Н. Н. Муравьева: легендарный партизан не оправдывает своей славы — он слаб, нерешителен, не очень храбр, изнежен и капризен[45]. В этих характеристиках сказывалась, конечно, и личность мемуариста — педантического службиста с гипертрофированным семейным самолюбием. Но они — свидетельство из «ермоловского лагеря», и Давыдов в них узнаваем. Он растерян, как растерян и сам Ермолов, подозревавший всех, временами даже Муравьева и Давыдова. От всесильного некогда проконсула Кавказа постепенно отворачиваются друзья и преданные подчиненные — и его охватывает страх: страх перед возможными неудачами, гневом императора, кознями Паскевича. Когда он говорит о неизвестности, его ожидающей, голос его дрожит, он плачет. Это не просто индивидуальные черты поведения Ермолова или Давыдова — это социально-психологическая атмосфера 1826 года с ее подавленностью и всеобщим страхом. Она прямо отражается в стихах Давыдова 1826–1827 годов: в «Полусолдате», в «Партизане», где ясно слышатся нотки психологического диссонанса. Здесь биографические мотивы вырастают до социального обобщения.

Сам Давыдов был одним из немногих, кто сохранил верность опальному генералу и кто провожал его, когда тот, подав прошение об отставке и получив ее, отправился «инвалидом» в свое имение, в апреле 1827 года. Сопровождавший их А. С. Гангеблов, поручик Измайловского полка, член Северного общества, служивший под надзором после десятимесячного заключения в Петропавловской крепости, сохранил в своих воспоминаниях выразительный эпизод: Давыдов обратил на него ласковое внимание лишь после того, как узнал его историю[46].

Давыдов покинул Кавказ почти сразу же вслед за Ермоловым, отнюдь не улучшив, а, напротив, ухудшив свою репутацию в глазах властей. Паскевич поступил с ним по испытанному способу: он медленно, но неуклонно устранял его от дел, пока Давыдов не подал в отставку. «Я увидел, что меня хотят спровадить, — писал он Закревскому 10 августа 1827 года, — и

просился прочь, это приняли с восхищением от неимения ко мне доверенности. <…> Я уехал, но несправедливость сия так потрясла всю нравственную систему мою, что я занемог, и серьезно…»[47]

С этого времени в его стихи входит тема «гонителей» и «гонимых».

Он пишет «Бородинское поле» (1829) — одну из лучших русских исторических элегий 20-х годов, полную ностальгии по «гомерическому», героическому прошлому, эмблемой которого становятся имена Багратиона, Раевского и Ермолова, что звучало уже как прямой вызов. Вслед за тем он упоминает о себе, их соратнике, чью судьбу «попрали сильные…». Идея выражена в тексте прямо и недвусмысленно и не нуждается в специальном объяснении, — она почти та же, что в лермонтовском «Бородине». Менее очевидно для современного читателя художественное новаторство «Бородинского поля».

Чтобы оценить его по достоинству, следует иметь в виду, что «рустическая элегия», живописующая патриархальное сельское уединение, была в 1820-е годы живым жанром и что его поэтические темы и ценностные характеристики были предопределены в ней еще знаменитым вторым эподом Горация «Beatus ille…» — о счастливой судьбе земледельца, возделывающего наследственное поле. В 1807 году в бою при Прейсиш-Эйлау Давыдов вспоминал «Тибуллову элегию „О блаженстве домоседа“». Здесь определялись поэтические темы и образы с устойчивой системой коннотаций (сопутствующих значений): «покой» — мир, благоденствие, природа, семейные радости; «война» — убийство, смерть, жестокость. В IX элегии (1818) сам Давыдов находится в пределах этого круга понятий:

> В уединении спокойный домосед
> И мирный семьянин, не постыжусь порою
> Поднять смиренный плуг солдатскою рукою…

Но уже в 1824–1825 годах, в период первой отставки, в его письмах кристаллизуется остро контрастная словесная тема «солдата-хлебопашца» (письмо А. А. Бестужеву, 18 февраля 1824 года). Она достигает своего апогея в двух письмах к А. И. Якубовичу: «тяжело было снести то равнодушие, с каким оттолкнули меня в толпу хлебопашцев» (14 марта 1825). В следующем письме он с восхищением пишет о «богатырских и великодушных» деяниях Якубовича, «несущих на себе отпечаток чего-то гомерического, веющих запахом времен поэтических, ныне столь плоских и прозаических»[48]. Итак, определяется новая

система коннотаций: «война» — подвиги, поэзия, деятельность; «покой» — бездействие, угасание, будничная проза. Именно эта система поэтических представлений объясняет, почему Давыдов в 1829 году нарушает свое поэтическое безмолвие посланием к Е. Зайцевскому, — не к Пушкину, не к Вяземскому, не к Баратынскому, но к поэту очень ограниченного таланта, к тому же лично ему вовсе неизвестному. Герой-воин и одновременно стихотворец для Давыдова — символическое воплощение поэзии в «плоские и прозаические» времена. «Земледелец-гусар» стихов 1829 года — жертва века, оксюморонное сочетание, аномалия. Эта поэтическая концепция, решительно противостоящая традиционной, и развита в «Бородинском поле»:

Счастливцы горделивы
Невольным пахарем влекут меня на нивы.

Крошечная эпитафия «На смерть N.N.», относящаяся к тому же 1829 году, довершает картину. Она считалась всегда посвященной Ермолову, но реалии ее, кажется, указывают на другое лицо. В 1829 году умер Н. Н. Раевский. С его смертью для Давыдова уходила в прошлое целая эпоха.

Смерть Раевского стала событием общественным — и почти символическим. М. Ф. Орлов, «государственный преступник», пощаженный Николаем по ходатайству брата и безвыездно заключенный в своем имении, откликнулся на нее «Некрологией», изданной анонимно (1829); Пушкин немедленно отрецензировал ее в «Литературной газете» (1830). «Желательно, — замечал он, — чтобы то же перо описало пространнее подвиги и приватную жизнь героя и добродетельного человека»[49]. Именно эта концепция, очень характерная для декабристских социально-этических представлений (подлинным героем может быть только добродетельный человек), легла в основу «Замечаний на некрологию Н. Н. Раевского», написанных Давыдовым в 1830-м и изданных отдельной брошюрой в 1832 году. Здесь содержалась апология гражданских добродетелей Раевского, приобретавшего под пером Давыдова черты «Агриколы, или Эпаминонда, или Сципиона», воина-философа, равнодушного к славе и почестям и со стоическим мужеством переносившего удары судьбы. О трагедии Раевского он говорит подробно и прозрачно; читатель 1830-х годов, воспитанный на аллюзионной литературе, мог безошибочно подставить конкретные факты: арест двух зятьев — М. Орлова и С. Волконского, отъезд в Сибирь любимой дочери, смерть маленького внука; подозрения и наговоры, окружившие его самого и сыновей. Этот-то человек вырастал под пером

Давыдова в символическую фигуру древнего римлянина, противопоставленного «смрадной» современности, «коснеющей в тесной, себялюбивой расчетливости»[50]. Когда Давыдов неосторожно показал рукопись Я. И. де Санглену, некогда главе тайной полиции, тот «откровенно заметил ему, что много либеральных, неуместных идей, печатание которых опасно». Так рассказывал де Санглен Николаю I и получил заверение императора, что и сам он не верит Давыдову, «которого выгнал Паскевич из армии»[51]. Это происходило в 1830 году; Давыдов дал всей истории широкую огласку; он жаловался Закревскому, начальнику московской полиции А. А. Волкову, своему старинному знакомому, на добровольный шпионаж де Санглена; возникла официальная переписка, которая лишь вредила Давыдову в глазах высшей власти[52]. Тем не менее он в 1832 году печатает свои «Замечания» и одновременно включает в свой сборник эпитафию «N. N.», прямо направленную против гонителей героя.

В 1831 году он делает еще одну — и последнюю — попытку напомнить о себе как боевом генерале: добивается командования отдельным отрядом в кампании 1830–1831 годов и участвует в нескольких упорных сражениях. На этот раз правительство считает нужным наградить его: он получает чин генерал-лейтенанта и орден святого Владимира 2-й степени. Из войны он выносит еще укрепившуюся неприязнь к российской военной бюрократии, к старому своему знакомцу И. И. Дибичу и старому врагу — великому князю Константину Павловичу, о чем он прямо написал в своих записках, дав почти гротескный портрет того и другого.

Начинался последний период его литературного творчества. В конце 1820-х годов Давыдов живет в своем именин Маза Симбирской губернии Сызранского уезда, по временам наезжая в Пензу, в Саратов. Деля свое время между хозяйственными делами, травлей волков по пороше и визитами к соседям-помещикам — Сабуровым, Бекетовым, Столыпиным, он обращается к поэзии как к жизненной необходимости. «Мне необходима поэзия, — пишет он Вяземскому, — хотя без рифм и без стоп, она величественна, роскошна на поле сражения, — изгнали меня оттуда, так пригнали к красоте женской, к воспоминаниям эпических наших войн, опасностей, славы, к злобе на гонителей или на *сгонителей с поля битв на пашню*. От всего этого сердце бьется сильнее, кровь быстрее течет, воображение воспаляется — и я опять поэт!»[53]

В 1828 году он печатает свою биографию, над которой

работал уже несколько лет. Биография была манифестом романтического жизнестроения. Взятая вне своего эстетического качества, просто как очерк жизни и деятельности, она производила впечатление безудержного хвастовства, и так ее и восприняли многие современники. Давыдов должен был прибегнуть к наивной мистификации, распустив слух, что она написана другим лицом. Конечно, биография была актом самоутверждения, — но утверждал себя Давыдов прежде всего в качестве «поэтического лица». Отсюда характерная особенность его жизнеописания; вехами жизненного поприща выступают на равных правах смертельно опасные сражения, мирные договоры, «мазурка до упаду», любовные увлечения, кутежи и сочинение мадригала. «При селении Химанго, в виду неприятельских аванпостов», он перевел Делилеву басню «La Rose et l'Etourneau»… Все эти эпизоды почти равновелики, ибо они интегрированы единой личностью — «романтической натурой». Именно эту автоконцепцию Давыдова принимает из его рук Белинский и делает инструментом очень точного и тонкого анализа его поэтического творчества.

В тех же эстетических категориях Давыдов оценивает социальный быт и исторических личностей. Суворов и Наполеон для него — «поэты и витии действия», подобно тому как Пиндар и Мирабо — «полководцы слова». Еще в «Опыте теории партизанских действий» он говорил о «поэзии» партизанской войны; теперь он противопоставлял «расчетливому уму» и методическому маневрированию — «порыв непонятный, неизъяснимый, мгновенный, как электрическая искра»[54]. Это не просто эстетика, это романтическая эстетика, и она глубоко укореняется даже в историческом мышлении Давыдова. Свои военно-исторические труды он также готов представить как плод вдохновения, противопоставив их трудам «мозаических кропателей».

Вместе с тем Давыдов нашел способ манифестировать и свою социальную позицию. Она сказалась в эпиграмматической субъективности оценок; так, рискованным и острым каламбуром он свел старые счеты с генералом Винценгероде. Когда он вторично напечатал свой очерк в качестве предисловия к сборнику своих стихотворений, В. Д. Комовский проницательно писал Языкову: «Видели ли вы стихотворения Давыдова? Жизнеописание особенно примечательно; говорят, оно написано Ермоловым. Если так, то это доказывает, что оппозиция, т. е. такая, к которой непозволительно придираться, и которая, если бы она была у вас, ограничивалась словом, — уже переходит в литературу; перестает брезгать ею или, что то же, становится

грамотною»[55].

Теперь — в конце 1820-х годов — Давыдов отказывается от своей прежней позиции поэта, «презревшего печать». Обнародование своих сочинений становится для него единственно реальной формой социального бытия. Естественно, он выбирает для этого издание литературного круга, к которому он уже принадлежал, — «Литературную газету» Пушкина, Дельвига, Вяземского; когда позднее пушкинский круг собирается во вновь организованной «Библиотеке для чтения», Давыдов тоже посылает сюда стихи и статьи. Он порывает с «Библиотекой», когда из нее уходят его литературные соратники, и по тем же причинам: его не удовлетворяет ни «торговая словесность», ни редакторское самоуправство Сенковского. С возникновением пушкинского «Современника» (1836) в числе участников журнала оказывается и Давыдов.

В эти годы как никогда укрепляется его контакт с Пушкиным, за которым он признает безусловно роль главы русской литературы. Гибель Пушкина потрясла его и исторгла у него гневно-пренебрежительные строчки о литературных врагах поэта: «Как Пушкин-то и гением, и чувствами, и жизнию, и смертью парит над ними?»[56] Отзыв характерен: за ним стоит все та же, знакомая нам, всеохватывающая эстетическая концепция «Поэта», воплощением которой становится Пушкин — и как личность, и как творец.

И едва ли не то же мироощущение становится психологической основой сближения Давыдова с Языковым, чему способствовало, впрочем, и довольно близкое соседство их по имениям. Со стихами Языкова он был знаком еще в 1824 году — их пересылал ему через Вяземского Бестужев. В 1826–1827 годах он возит с собою подаренный ему список «Песни короля Регнера» — и в те же годы цитирует Ф. И. Виницкому стихи из обращенного к Языкову пушкинского послания, где содержалась характеристика его поэзии:

> Она не хладной льется влагой,
> Но пенится хмельною брагой, и т. д.

Его, несомненно, привлекала экспрессия языковского стиха, в которой он видел родство с духом своей собственной поэзии, и он прямо называет стихи, близкие ему по поэтическому содержанию, — «Песню короля Регнера», «Кубок», «Поэту»: «В Москве этой зимою я впервые прочел пиесу вашу „Поэту“, ту, которая поставлена первою в стихотворениях ваших, — я ахнул. Что за язык! что за поэзия! что за возвышенность чувств — это

очарование! а „Кубок“? Что мои хмельные стихи против этих? Сивуха пред шампанским»[57].

В «Поэте» была развернута романтическая концепция поэтической личности, подобная той, на которой настаивал сам Давыдов. Родство обнаруживалось и за пределами собственно стихотворного языка. Когда Языков и Давыдов впервые встретились — это произошло на «мальчишнике» у Пушкина, в Москве, 17 февраля 1831 года, — тяготение оказалось обоюдным. В двух посланиях к Давыдову — «Давным-давно люблю я страстно Созданья вольные твои…» (1832) и особенно «Жизни баловень счастливый…» (1835) — Языков, словно угадав невысказанное желание адресата, создал его стилизованный романтический портрет. Послание Языкова осталось одним из лучших стихотворений, посвященных Давыдову. Пушкин, читая его, прослезился. Портретная формула: «…боец черно-кудрявый С белым локоном на лбу» — стала компонентом легенды, и Давыдов заботился о том, чтобы ей соответствовать. Когда-то определяющим элементом его внешнего облика были усы (он не шутя отказывался от назначений, исключавших ношение усов); сейчас он называет серебристый хохолок своим «flamme de génie» (пламенем гения)[58], — происходит своего рода эстетическая перекодировка самой внешности.

К этому времени он успел уже выпустить в свет свой первый сборник — «Стихотворения Дениса Давыдова» (1832) — и готовил второе, уже более полное собрание.

Сборник 1832 года находился как бы на переломе Давыдовского творчества. Подобно сборнику, замышлявшемуся в конце 1810-х годов и так и оставшемуся в виде рукописной тетради, он открывался книгой элегий. Но среди элегий Давыдов производит строгий, даже слишком строгий отбор: теперь они его не удовлетворяют «старинной выделкой» — и, вероятнее всего, самой жанровой принадлежностью. Когда в 1829 году его постигают новые увлечения, давшие пищу серии любовных стихов, он избирает иные жанровые формы. «Душеньку» — одно из лучших своих любовных стихотворений этого времени — он определяет подчеркнуто перифрастически: «полуода, полуэлегия, полу-черт знает что», «полуэлегические, полуанакреонтические куплеты». Здесь против всех правил и традиций смешаны воедино «ода» (высокий жанр), «элегия» (средний), «куплеты» (едва ли не низкий). Индивидуальное творчество Давыдова идет в русле жанровых исканий 1830-х годов, в которые он сам вложил свою лепту: ему близки теперь романс, песня, поэтический фрагмент. Он, конечно, не отказывается полностью от традиционных форм, даже от элегических, но деформирует их почти до

неузнаваемости. Интересно следить, как он движется от замкнутых поэтических структур к более свободным: так, уже «Элегия IX» содержит эллипсис — намеренный пропуск текста, обозначенный точками; это не неоконченность, как нередко считали, а сознательный поэтический прием, такой же, как в «Осени» Пушкина, — и его затем Давыдов будет практиковать, обрывая текст на нерифмующемся стихе и оканчивая двумя строчками точек. Его последний любовный «цикл», адресованный Е. Д. Золотаревой, за небольшим исключением, представляет собою редчайший в русской поэзии жанровый и стилистический эксперимент.

Роман Давыдова с Е. Д. Золотаревой начинается в 1833 году, и тогда же Давыдов пишет Вяземскому, что в нем вновь забил заглохший источник поэзии. Он сообщает о новых и новых стихах, им написанных, — но, за небольшим исключением, все эти стихи — крошечные лирические миниатюры, иногда из четырех строк. Здесь поэтический принцип, который мы вправе связывать с общей эстетической ориентацией Давыдова в тридцатые годы. Отрывок, фрагмент, мгновенная поэтическая вспышка, несущая на себе печать импровизации, непосредственное самоизлияние души — все это ближе всего соотвеетствует концепции «поэтической натуры». Ранняя декларация: «…где есть любовь прямая, Там стихи не говорят!..» — реализуется в поэтическом творчестве. Излишне напоминать, что все эти импровизации правились затем совершенно так же, как ранние элегии, и что на них равным образом распространялось требование коллективной критики. С необыкновенным искусством Давыдов имитировал поэтический дилетантизм, безыскусственность[59] — и отдавал эти стихи в печать, делая исключение лишь для самых интимных, которые могли бы вызвать нежелательную реакцию в семье. Поэтический язык этих миниатюр значительно отличается от прежнего языка давыдовских элегий: в них уменьшается удельный вес поэтической перифразы и увеличивается роль заключительной афористической формулы. Нередко говорят об оживлении в них просторечной стихии «гусарских» стихов Давыдова, — и это верно; но просторечие в них не стилистическая доминанта, а лишь один из элементов стилевого сплава, в котором находят себе место и элегический язык, и язык анакреонтической поэзии, и, наконец, язык стилизации. Они ориентированы то на романс (для пения), то на фольклорный текст («На голос известной русской песни»). Наконец, Давыдов культивирует и точное, внеметафорическое, назывное слово, втягивая его в еле уловимую стилевую атмосферу, создаваемую как вербальными —

словесными, смысловыми, — так и вневербальными средствами: ритмическим рисунком, поэтическим синтаксисом. Все эти тенденции, как в фокусе, сосредоточиваются в его маленьком шедевре — восьмистишии «Я помню — глубоко…».

«Я помню — глубоко…» — элегия, принявшая романсно-песенную форму. Элегическому жанру принадлежит лирическая ситуация — воспоминание о прошедшей любви, монологический характер повествования, временная соотнесенность экспозиции и концовки: первая — радостное прошлое, вторая — печальное настоящее. Но элегии нужны символические, традиционные и потому легко узнаваемые формы лирического опосредования, — например, элегический пейзаж. Иначе она лишится единства тона — непременного условия ее поэтики. Именно это и происходит у Давыдова. Зоркость глаза лирического героя, описанная в первом четверостишии, — для элегии непозволительная конкретизация и профанация духовного содержания. Здесь такое описание занимает половину стихотворения; тема «зоркости» реализуется в пространственной перспективе средствами эпического гиперболизма: «и степь обнимал широко, широко». Возникающий как бы ненароком пейзаж слегка окрашен народно-поэтическими ассоциациями. Это входит в замысел. Стихи пишутся амфибрахием, — этот размер употреблялся при стилизации народной песни. Удвоение наречий, обозначающее высокую степень качества, также принадлежит песенному языку. В самом построении стихотворения обнаруживаются черты песенной поэтики: «скачок» от «зорких глаз» к духовной драме, от внешнего к внутреннему, от физического к психическому сродни тому, что в народной песне Пушкин называл «лестницей чувств», а современные фольклористы — «ступенчатым сужением образа». Но Давыдов не стилизует песню: он создает ее стилевую атмосферу. Песня окрашивает легкими рефлексами лирический монолог, который от этого теряет черты элегической жалобы, и образ героя, который перестает быть «унылым». Напротив, это «удалец», только недавно переживавший расцвет физических сил.

Накопленная в первом четверостишии лирическая энергия разрешается в концовке резким контрастом:

Но, зоркие очи,
Потухли и вы…

Элегическая тема «утраты молодости», переданная языком песни, где «зоркие» — постоянный эпитет, «очи» — не поэтизм, а народнопоэтическая лексика, прямое обращение —

традиционный фольклорный прием. «Потухшие очи» — признак старости. Однако в контексте стихотворения этот мотив — ложный, потому что первые строки связаны с последующими причинно-следственной связью. Молодость, сила утрачены потому, что утрачена любовь:

Я выглядел вас на деву любви,
Я выплакал вас в бессонные ночи!

Эта поразительная по своей силе концовка лишена всяких поэтических тропов, кроме, быть может, одного, заключенного во внутренней форме слова: «выглядел» — исчерпал в созерцании до слепоты — смелый неологизм, основанный на безукоризненном чувстве языка. Концовка сводит воедино все лирические мотивы предшествующих строк; построенная как точный параллелизм, на однородных синтаксических конструкциях, она выделяет и подчеркивает два центральных слова — «выглядел» и «выплакал», в которых как бы сконцентрировалось содержание я эмоциональная энергия стихотворения. После каждого из них — резкая пауза, придающая особый драматизм интонации. Давыдов соединил в длинной строке две строчки двустопного амфибрахия с мужской и женской рифмой; произошло стяжение — пропуск слога. В 1830-е годы это был почти уникальный по смелости стиховой эксперимент.

В позднем творчестве Давыдова мы не раз встречаемся с поэтическими экспериментами, различными по характеру и литературной установке. Конечно, они возникают на фоне традиции. Но и в жанровом, и в стилистическом отношениях его лирика 1830-х годов представляет собою гораздо более пеструю и многообразную картину, чем во все предшествующие периоды. В его последнем сборнике, вышедшем уже посмертно, мы встречаемся и с опытом циклизации разновременных стихов — явлением, чрезвычайно характерным именно для тридцатых годов, когда на смену группировке стихотворений по жанровому признаку приходит идея их объединения, по внутренним связям; так было и у Пушкина в последний период его творчества[60].

Посмертный сборник Давыдова (1840) явился как бы итогом этой литературной работы.

Сборник 1832 года — «Стихотворения Дениса Давыдова» — не получил сколько-нибудь широкого общественного резонанса. Давыдов относил равнодушие публики и критики за счет «кружкового» характера своих стихов. Однако когда А. Ф. Смирдин в 1836 году предложил ему издать собрание сочинений, он принял это предложение, и к началу 1837 года у

него уже была готова рукопись «Сочинений в стихах и прозе», первую часть которых составляют «Стихотворения». В этой первой части Давыдов и произвел маленькую литературную революцию, настолько необычную и непривычную, что последующим исследователям его творчества она иногда представлялась композиционным хаосом. Между тем она была закономерным следствием его изменившихся эстетических установок.

Давыдов решительно отказался от традиционного жанрового разделения: «элегии», «мелкие стихотворения», на котором был основан сборник 1832 года. Он понял, что структура книги может быть лирической биографией[61]. Он составлял поэму своей жизни, в центре которой стояло «одно из самых поэтических лиц русской армии». Автобиография в начале книги была ее ключом.

«Договоры» начинали этот огромный новый «цикл». Мы говорили уже о двойственной жанровой природе «Договоров», совместивших черты элегии и сатиры. Давыдов редактирует стихотворение так, чтобы элегическое начало было приглушено, а ироническое, сатирическое, «гусарское» вышло на передний план, — и даже разъясняет замысел в специальном примечании. Но примечание содержало долю лукавства и мистификации. Элегия не исчезла вовсе, она лишь была завуалирована и скрыта за защитной маской иронии. Лирический герой постарел на тридцать лет («Увы! не сединой сердца обворожаешь!») — и едва ли не приобрел тем самым новые биографические черты. Во всяком случае, «Договоры» явились исходным пунктом лирической автобиографии — апологией «ветерана», «землепашца» на лоне природы. Далее начинала развертываться его предыстория.

Два послания к Бурцову. «Решительный вечер гусара». «Партизан». «Песня» («Я люблю кровавый бой…»), «Песня старого гусара». «Гусарская исповедь»… Это вехи жизненного и духовного пути — тщательно продуманная и выношенная концепция, где кульминацией является 1812 год, а далее — спад, новое и чуждое время, в котором один «старый гусар» сохраняет память о прошлом и верность прошлому.

На грани этого тематического цикла стоят «Полусолдат» и «Челобитная» — вынужденный конец воинской биографии. Но далее открывается новая ипостась личности поэта — любовь.

Введение в эту «главу» — «Гусар», старые и в целом не слишком удачные стихи, получающие здесь значение декларации. Вторая декларация — уже не в ироническом, а в серьезном регистре — «Возьмите меч…», бывшая «Элегия I». Некогда Давыдов создавал единую «книгу элегий» из стихов, обращенных по меньшей мере к трем адресатам; сейчас книга элегий

распалась; из нее включено в сборник только пять; зато в «главу» вошли стихи, адресованные и Золотаревой, и Кушкиной. Все они образуют единый лирический сюжет, начинающийся темой любовных надежд, мучений и счастья: «Жестокий друг», «Вальс», «О пощади!..», «Душенька». «Речка» обозначает конец мажорной темы. Появляется нарастающая диссонансная нота: сначала ветрености возлюбленной (стихи к Аглае Давыдовой: «Если б боги милосердия…»), затем измены; она достигает своей кульминации в трагическом «Я помню — глубоко…». Но уже в пределах ее начинает слабо звучать другая тема: «выздоровления», преодоления кризиса; она выходит на поверхность в ироническом «Неужто думаете вы…» и разрешается в оптимистических анакреонтических стихах: в «Мудрости», в «Болтуне красноречивом…». Эта «глава» завершается эпиграммами, надписями и «Поэтической женщиной». Из этой тональности выпадает эпитафия «На смерть N. N.». Она начинает новую тему, полную социального пессимизма.

«Бородинское поле». «Зайцевскому». «Листок». Гонения, забвение, странствия, «прозаический век».

Последним стихотворением книжки становится «Современная песня».

Денис Давыдов создавал социальную концепцию собственной личности.

Есть своя закономерность в том, что и литературный путь Давыдова закончился «Современной песней» — памфлетом на Чаадаева и «западников», имевшим успех скандала. Резкость этого выступления вызвала реакцию в московских литературных кругах; «Современная песня» появилась в печати уже после смерти Давыдова, когда правительственные репрессии настигли Чаадаева и «Телескоп», где было напечатано «Философическое письмо». Чаадаевская католическая историософия, с ее пессимистическим взглядом на национальное историческое прошлое и будущее, почти не имела сторонников, но все ее потенциальные оппоненты — Пушкин, Вяземский, Баратынский, А. Тургенев — считали неуместным полемизировать с человеком, навлекшим на себя кары официальной николаевской России. Исключением были Ф. Ф. Вигель, давний ненавистник Чаадаева, публично обвинивший его в антипатриотизме, да М. Н. Загоскин, сторонник идеи «официальной народности», выступивший с памфлетом «Недовольные». Все это в создавшихся условиях звучало как прямой донос и так и расценивалось.

Своим стихотворением Давыдов примкнул именно к этому охранительному лагерю, и Вигель в своих позднейших мемуарах

рассматривал «Современную песню» как выступление единомышленника. А. И. Тургенев, прочитав ее, высказывал Вяземскому свое возмущение. Нужно признать, что для этого были основания. Нотки официального патриотизма явственно звучат в давыдовском памфлете; «демагоги» западнических кружков, обрисованные в нарочито карикатурных тонах, представлены как жалкие сколки с измельчавших западных либералов, решительно чуждые здоровым началам российского социального организма.

«Современная песня» — критика либерализма «справа», и она, несомненно, показывала рост консервативных и даже охранительных начал в мировоззрении Давыдова. Сквозь призму этих стихов и воспоминаний людей, общавшихся с Давыдовым в его последние годы, прежний «поэт-партизан» рисуется в малопривлекательном виде: степной помещик, опустившийся, отставший от интеллектуальных интересов времени, пристрастившийся к вину — уже не в поэтическом, а в совершенно бытовом смысле, погрязший в семье, хозяйстве, псовой охоте… Эта картина не совсем верна и уж во всяком случае одностороння.

У нас есть основания предполагать, что с чаадаевской исторической концепцией Давыдов познакомился еще в начале 1830-х годов, когда в пушкинском кругу стало известно недавно написанное первое «философическое письмо». События 1830–1831 годов ускорили размежевание общественно-литературных сил; в эти годы обозначаются первоначальные абрисы будущей «западнической» и «славянофильской» концепций. В «Записках о 1831 годе…» Давыдов включился в спор и занял в нем своеобразную позицию. Его представления об историческом пути России отнюдь не совпадали с официозными, выраженными в известной формуле Уварова; они отличались тем самым социальным скептицизмом, который он исповедовал десятью годами ранее и который со временем приобрел ярко выраженный пессимистический колорит. Как и прежде, политическая свобода остается для него «небесной манной», но теперь он убежден, что для нее не пришло историческое время: современное общество погрязло в себялюбии и эгоизме, в пустых аналитических прениях (об этом менее чем через десять лет будет писать Лермонтов в «Думе») и им в жертву принесло «пользу, благосостояние и свободу народов». И ранее народное благо было жертвой честолюбия либо гражданского, либо военного; разница в том, что ныне Наполеон — «этот умственный феномен веков и мира, этот ослепительный метеор, облеченный в очарование высочайшей поэзии», — заменен «девяностолетним дитятей»

Лафайетом, а «гомерического, баснословного, грандиозного размера битвы, с отпечатком гениальных соображений» — «площадною свалкою черни в лохмотьях»[62]. Мы без труда узнаем здесь не только идею, но и самую фразеологию «Современной песни», в начале которой появляется неназванный Наполеон — «огромный человек, Расточитель славы»; ему противопоставлены «мошки да букашки» деградировавшего века. Панорама «героев времени», включающая и издавна вызывавшего у Давыдова неприязнь Чаадаева — «маленького аббатика» в салонах «старых барынь», есть лишь конкретизация этой общей идеи, — и Давыдов не забывает отметить, что либералы нового времени отнюдь не следуют своим принципам в собственном жизненном поведении:

А глядишь: наш Мирабо
Старого Гаврило
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло…

Здесь говорит человек, когда-то с негодованием писавший о владельцах «белых негров» и еще в 1834 году рассказывавший Вяземскому, как гусарский майор Копиш, кормивший своих крестьян в голодный год, удостоился от соседей прозвания «бунтовщика» и «посягателя на спокойствие государства»[63].

Все это объясняет, почему «Современная песня» была с одобрением встречена «Отечественными записками», вовсе не склонными сочувствовать памфлетам на западнические кружки, и почему в числе давыдовских карикатур появился сам Ф. Ф. Вигель, конечно никак о том не подозревавший.

Консерватизм «Современной песни» был либерализмом 1820-х годов, пережившим себя. Наступала новая эпоха; она выдвигала новые общественные силы, которые Давыдов уже не смог понять и принять.

В 1837 году, в двадцатипятилетие Бородинского сражения, он начинает хлопотать о перенесении на Бородинское поле праха Багратиона, чтобы похоронить его у сооружавшегося Бородинского памятника. Дело тянулось полтора года; 6 апреля 1839 года Давыдов получил наконец уведомление, что он назначен конвоировать останки своего командира с Киевским гусарским полком. Он приготовил надгробную надпись.

Ему не суждено было совершить этот «поход», с таким нетерпением им ожидаемый. 22 апреля 1839 года он скончался от апоплексического удара. Его погребли в Ново-Девичьем монастыре, в тот самый день, когда в Москву въехал кортеж с

гробницей Багратиона.

notes

Примечания

1

Печатается по изданию: Денис Давыдов. Стихотворения / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. В. Э. Вацуро. Л.: Сов. писатель, 1984. С. 5–48.

2

Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 тт. Т. 4. М., 1954. С. 369, 345–346, 353.

3

Давыдов Д. В. Соч. Т. 3. СПб., 1893. С. 203.

4

Биографию Давыдова см.: *Советов Н. Н.* Д. В. Давыдов. В кн.: Сборник биографий кавалергардов. Т. 3. СПб., 1906. С. 28–45; *Жерве В. В.* Партизан-поэт Денис Васильевич Давыдов. Очерк его жизни и деятельности. 1784–1839. СПб., 1913; *Попов М. Я.* Денис Давыдов. М., 1971.

5

Встреча с великим Суворовым (1793). В кн.: *Давыдов Д.* Военные записки. М., 1940. С. 41–61.

Давыдов В. Д. Денис Васильевич Давыдов, партизан и поэт (1784–1839) // Русская старина. 1872. № 4. С. 628.

7

См.: *Давыдов Д.* Военные записки. С. 62.

8

Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. СПб., 1914. С. 86.

9

Булгарин Ф. Воспоминания. Ч. II. СПб., 1846. С. 135–136, 134.

10

См. ее анализ: *Лотман Ю. М.* Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория) // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 25–74.

11

О «гусарской» лирике Давыдова см.: *Эйхенбаум Б. М.* От военной оды к «гусарской песне» // О поэзии. Л., 1969. С. 148–168; *Орлов В. Н.* Певец-герой (Денис Давыдов) // Избранные работы в 2-х тт. Т. 1. Л., 1982. С. 189 и след.

12

Давыдов Д. Военные записки. С. 84.

13

Там же. С. 140–141.

Архив Раевских. Т. 1. СПб., 1908. С. 102–103.

Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Т. 7. СПб., 1882. С. 89.

16

Русская старина. 1872. № 4. С. 631.

17

Давыдов Д. Военные записки. С. 208.

18

М. И. Кутузов. Сборники документов. Т. 5. М., 1956. С. 81.

19

Лажечников И. И. Собр. соч. Т. 7. СПб., 1858. С. 304. Ср. аналогичные свидетельства Э. И. Стогова (Русская старина. 1903. № 2. С. 272–273) и С. Н. Соковниной (Исторический вестник. 1889. № 3. С. 665).

20

Письма поэта-партизана Д. В. Давыдова к князю П. А. Вяземскому. Пг., 1917. С. 15.

21

Русский архив. 1866. Стлб. 900.

22

Давыдов Д. Военные записки. С. 408; Русская старина. 1872. № 4. С. 628–629.

23

Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1980. С. 60.

24

См.: *Фридман Н. В.* Неизвестные письма К. Н. Батюшкова // Русская литература. 1970. № 1. С. 188; Он же. Поэзия Батюшкова. М., 1971. С. 185, 359; Письма… Д. В. Давыдова к кн. П. А. Вяземскому. С. 8.

Давыдов Д. В. Соч. Т. 3. С. 231.

26

См.: *Ланда С. С.* Дух революционных преобразований… М., 1975. С. 159–160.

27

Цит. по статье: *Ильин-Томич А. А.* Поэзия жизни и жизнь поэзии // *Давыдов Д.* Избранное. М.: Книга, 1984. С. 20.

28

Русская старина. 1872. № 4. С. 636–637.

29

Давыдов Д. Военные записки. С. 389.

30

Общественная позиция Давыдова получает различное толкование в исследовательской литературе. См.: *Орлов Вл.* Певец-герой (Денис Давыдов) // Избранные работы: В 2 т. Т. 1. С. 154–202; *Нечкина М. В.* Движение декабристов. Т. 1. М., 1955. С. 133–134, 138; *Ланда С. С.* Дух революционных преобразований… С. 155–161; *Пугачев В. В.* Денис Давыдов и декабристы // Декабристы в Москве. М., 1963. С. 107–142; *Тартаковский А. Г.* 1812 год и русская мемуаристика. М., 1980. С. 165 и след.; *Пугачев В. В.* Из истории русской общественно-политической мысли начала XIX века (От Радищева к декабристам) // Уч. зап. Горьковского унив. 1962. Вып. 57. Серия историко-филологическая.

Вигель Ф. Ф. Записки. Ч. V. СПб., 1892. С. 45.

Лотман Ю. М. Историко-литературные заметки. 2. О так называемой «Речи» Д. В. Давыдова при вступлении в «Арзамас» // Уч. зап. Тартуского унив. Вып. 98. Труды по русской и славянской филологии. III. Тарту, 1960. С. 311.

33

См.: *Гиллельсон М. И.* Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л., 1974. С. 141 и след.

34

Русская старина. 1903. № 8. С. 447; Письма… Д. В. Давыдова к кн. П. А. Вяземскому. С. 5.

35

См. подробнее: Лидия Гинзбург. О лирике. 2-е изд., доп. Л., 1974. С. 19–51. 2. Письма Д. В. Давыдова к кн. П. А. Вяземскому. С. 9.

36

Жуковский В. А. Соч.: В 3 т. Т. 3. М., 1980. С. 496 (письмо от 10 декабря 1829 года).

37

Письма Д. В. Давыдова к кн. П. А. Вяземскому. С. 43.

38

О стилистических особенностях лирики Давыдова см. также: *Семенко И. М.* Поэты пушкинской поры. М., 1970. С. 106–20.

39

Сборник Русского исторического общества (РИО). Т. 73. СПб., 1890. С. 409.

Пушкин и его современники. Вып. 19–20. Пг., 1914. С. 68.

Сборник РИО. Т. 73. С. 535.

Давыдов Д. В. Соч. Т. 2. С. 192.

Сборник РИО. Т. 73. С. 536–541.

Орлов Вл. Судьба литературного наследства Дениса Давыдова // Лит. наследство. Т. 19–21. М., 1935. С. 330–331.

45

Муравьев-Карский Н. Н. Записки // Русский архив. 1889. № 4. С. 590–592, 602; № 9. С. 67–68. Об участии Давыдова в военных действиях см.: *Нерсисян М.* Из истории русско-армянских отношений. Кн. 2. Ереван, 1961. С. 7–37.

46

См.: *Гангеблов А. С.* Воспоминания декабриста. М., 1888. С. 125–126.

Сборник РИО. Т. 73. С. 549.

Давыдов Д. В. Соч. Т. 3. С. 156–158.

Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 11. М.; Л.: АН СССР, 1949. С. 84.

Давыдов Д. В. Соч. Т. 3. С. 114.

51

Русская старина. 1883. № 3. С. 571–572.

52

См.: Русская старина. 1898. № 6. С. 561–563; Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина. Т. IX. М., 1910. С. 346.

53

Письма… Д. В. Давыдова к кн. П. А. Вяземскому. С. 22.

Давыдов Д. В. Соч. Т. 3. С. 206; Он же. Военные записки. С. 48, 99.

Лит. наследство. Т. 19–21. С. 91.

Письма… Д. В. Давыдова к кн. П. А. Вяземскому… С. 51.

Лит. наследство. Т. 60. Кн. 1. М., 1956. С. 222; *Давыдов Д. В.* Соч. Т. 3. С. 182–184; *Винницкий Ф. Н.* Рассказы из былого времени // Чтения при имп. Обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1874. Кн. 1. Отд. V. С. 98; *Языков Н. М.* Соч. Л., 1982. С. 339.

58

Русский архив. 1866. № 6. Стлб. 899; ср.: *Пушкин.* Полн. собр. соч. Т. 16. С. 105.

См. об этом: *Рассадин С.* Партизан (Поэзия Дениса Давыдова) // Вопросы литературы. 1981. № 6. С. 111–147.

См.: *Измайлов Н. В.* Очерки творчества Пушкина. Л., 1975. С. 213–269.

61

См. указание на это и анализ лирического героя Давыдова в кн.: *Гуковский Г. А.* Пушкин и русские романтики. М., 1965. С. 148–162.

62

См. публикацию этого не изданного ранее фрагмента: *Гиллельсон М. И.* От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей. Л., 1977. С. 44–64.

Письма… Д. В. Давыдова к кн. П. А. Вяземскому. С. 44.